

Дэвид Безмозгис

ПРЕДАТЕЛИ

проза еврейской жизни

Предатели
Дэвид Безмозгис

Аннотация
Дэвид Безмозгис. Предатели. Роман
Убежище
  Один
  Два
  Три
  Четыре
  Пять
Заложник
  Шесть
  Семь
  Восемь
  Девять
Встреча
  Десять
  Одиннадцать
  Двенадцать
  Тринадцать
  Четырнадцать
Восхождение
  Пятнадцать
  Шестнадцать

Семнадцать
Восемнадцать
Кода
Коротко об авторе

Аннотация

«Предатели» — второй роман Дэвида Безмозгиса — рассказывает об одном дне из жизни Баруха Котлера, видного израильского общественного и государственного деятеля, в прошлом — знаменитого диссидента-отказника, отсидевшего долгие годы в советской тюрьме. В этот день Котлер нежданно-негаданно встречает человека, в свое время донесшего на него в КГБ. И этот день переворачивает его представления и о событиях своего прошлого, и его планы на будущее. За этот день Баруху Котлеру предстоит не только понять, как и почему друг его предал, но и понять, как и почему сам он сейчас предал жену, которая долгие 13 лет боролась за его освобождение, и детей.

Дэвид Безмозгис
Предатели
Роман

Посвящается Мэй, Лене и Еве

Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: отпусти меня, я пойду в свою землю. И сказал ему фараон: разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю? Он отвечал: нет, но отпусти меня.

3 Цар., II:2I-22

Борьбы за национальное освобождение не может быть без жертв и кар, смертей на поле боя и казней мучеников. Но ничто на свете не способно устоять перед самопожертвованием.

***Давид Разиэль*[1]**

---

[1] Примечания: 1

Давид Разиэль (урожд. Розенсон; 1910–1941) — один из руководителей подпольной военной организации «Иргун», его именем названы улицы в разных городах Израиля. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Убежище

Один

В тысяче километров от места, где разворачивалась очередная великая драма его жизни и молот Господа гвоздил Иудейские горы, Барух Котлер сидел в холле ялтинского отеля и наблюдал за тем, как его молодая подруга пререкается с администраторшей, миловидной блондинкой, — та выслушивала упреки с замкнутым, упрямым выражением лица. «Сразу видно, русская», — подумал Котлер. С такой угрюмой, надменной миной русские встречали оккупантов всех мастей. В ней читалось бессмысленное, беспощадное нежелание сдаться — гордость и проклятие русского народа. Лиора продолжала упорно что-то доказывать девушке, и это говорило о том, что она дитя иной культуры. В Израиле, стране, славящейся своей строптивостью, спор был спортом и затевался как ради спора, так и в надежде добиться своего. Но в крымском отеле в разгар сезона от этой левантийской привычки спорить пользы не было. Изменилось многое: появился этот современный отель и еще другие такие же, отдыхающие одевались по-западному и держались с нагловатой живостью и апломбом

обеспеченных людей, вокруг наличествовали все признаки прогресса и преуспевания — но если копнуть глубже, то, по сути, ничего не изменилось. Стоило лишь взглянуть на эту девушку и на ее лицо. Человеческий менталитет — крепкий орешек, явление загадочное и примитивное, не любящее перемен. «Правда, сегодня такую точку зрения сочли бы рискованной», — подумал Котлер мрачно, но не без приправленного иронией удовлетворения, — а из-за таких вот рискованных высказываний он и угодил в нынешнюю передрягу.

Лиора у стойки администратора развернулась и направилась к нему. Он смотрел, как приближается эта умная, энергичная еврейская девушка: темные кудри разлетаются, черные глаза негодующе сверкают, и вся ее плотная, крепенькая фигурка выражает возмущение. Со стороны могло показаться, что это любящая дочь приехала на отдых со своим папашей. Что-то многовато развелось якобы отцов и дочерей, решивших провести отдых вместе.

— Эта корова говорит, что у них нет нашей брони, — заявила Лиора. — Наглое вранье. Меня так и подмывало ей объяснить, с кем она имеет дело.

— Несомненно, это произвело бы на нее глубокое впечатление.

— Зря ты так себя недооцениваешь.

— Уж в чем-чем, но в этом меня нечасто обвиняют, — заметил Котлер.

— Лично мне не до смеха.

— Ну хорошо, Лиора, что ты предлагаешь? Написать открытое письмо, объявить голодовку?

Катя за собой чемоданы, они вышли из прохлады мраморного холла на ослепительно солнечную набережную. Неузнаваемый в белой шляпе и темных очках, Котлер, щурясь, смотрел на поток туристов, на беготню официантов среди столиков соседнего кафе, на ажиотаж покупателей у сувенирных киосков, выстроившихся вдоль каменного парапета. За парапетом — море и пляж с серой галькой и загорающими людьми. «А много ли тут на самом деле изменилось?» — подумалось Котлеру. Как тут все было пятьдесят три года тому назад? Тогда не было современных отелей, кафе не блистали ассортиментом, а сувенирные киоски — разнообразием продукции, и все равно для десятилетнего мальчика здесь имелась масса притягательного. Припомнились концерты на открытом воздухе, прогулки с отцом по окрестным холмам, экскурсии на греческие развалины

и в итальянскую крепость и долгие, ленивые, знойные дни на пляже. Они с родителями — единственный раз в жизни — провели вместе целый месяц. В их семейную летопись этот месяц вошел как время баснословное, идиллическое. Повторить его так никогда и не удалось. Следующим летом у матери случился жуткий приступ аппендицита. На другое лето отец менял работу. Да и его пресловутые музыкальные чаяния давали о себе знать. Родители единодушно решили, что не следует делать такой большой перерыв в занятиях на рояле. Великий Мирон Левенталь пригласил его в свой класс, и Котлер впервые отправился в Москву. А потом стало не до того. Всегда находилось что-нибудь поинтереснее. Свободное от учебы время он отдавал друзьям, девушкам, потом политике. Сейчас, оглядываясь на расстилающийся позади жизненный путь, он жалел, что в Крыму они так больше и не побывали.

Котлер и Лиора отошли от отеля и остановились, чтобы оценить обстановку и прикинуть варианты. Лиора приглядывалась к соседним отелям.

— Бесполезно, — сказал Котлер, перехватив ее взгляд. — Когда я вчера звонил, это был последний свободный номер. Август. В городе снят

каждый угол. Нам везде скажут то же самое.

В глазах Лиоры читались с трудом сдерживаемые протест и разочарование. Сдерживаемые, понял он, из уважения и — что уж тут скрывать — по причине тревоги за него.

— Может быть. Но выяснить это займет десять минут.

— Я бы не стал тратить время.

— И что тогда? Просто улетаем обратно?

— Нет, не для того мы так далеко забрались. Просто уехать было бы глупо.

— Прекрасно, Барух. Но где мы будем ночевать? В палатке на пляже? Как нудисты в Коктебеле?

— А это идея. Так и вижу фото и под ним заголовок: «Барух Котлер во всей красе!»

— Хорошо, а я на этом фото где?

— Рядом со мной. А где еще? Пусть глазеют, если уж на то пошло.

— Навидалась я этих фоток — с меня хватит.

— Подумаешь, — сказал Котлер. — Во всяком случае, к нудистам мы пока не присоседились.

Сойдя на проезжую часть, он поймал такси; водитель помог им погрузить чемоданы в багажник и отвез на автовокзал, куда они прибыли автобусом из Симферополя не далее как три часа назад. Тогда вокруг царила неразбериха: отдыхающие

сражались за такси, толпа местных — в основном сдающих жилье, с буклетами и визитками в руках, — зазывала квартирантов. В прошлый раз Котлер их толком не заметил. Он вообще обратил на них внимание лишь потому, что у таких же частников они с родителями тогда остановились. Они сняли комнату у русской пары средних лет, с ними еще проживал взрослый сын с семьей. Мирно, без ссор, просуществовали они весь месяц под одной крышей, деля не только кухню, но и туалет. В те времена ко всему относились проще. И поскольку сюда его привела, хоть и несколько извилистым путем, ностальгия, неудача с отелем ничуть его не расстроила. Наоборот, ему хотелось вернуться в прошлое, погрузиться в него как можно глубже, так что та русская барышня ему только помогла.

На вокзале все было иначе, чем утром. Толпа схлынула, и лишь у края открытой стоянки равнодушной кучкой расположились местные; у некоторых при себе были самодельные плакаты — на коленях или просто в руке. При виде Котлера и Лиоры с чемоданами они было дернулись, но подходить не стали. Котлер с Лиорой и правда мало походили на тех, кто ищет жилье, — скорее, на тех, кто забрел сюда по оплошке. Котлеру при-

шла в голову одна мысль, и он попросил Лиору постеречь чемоданы, а сам пошел в здание вокзала справиться о расписании. Печать уныния и пораженчества, лежащая на всех ожидающих на площади, наводила на мысль, что и у них с Лиорой дело — швах. Котлера не отпускало подозрение, что топчутся здесь в ожидании постояльцев эти люди неспроста.

— Следующий автобус из Симферополя придет часа через три, не раньше, — сообщил он, вернувшись к Лиоре.

— И что это значит?

— Когда он придет, другие местные, скорее всего, тоже подтянутся, чтобы искать жильцов. Но все равно еще три часа ждать.

— А эти люди там кто?

— Эти, с печатью безнадеги на лице? Хорошо бы кому-нибудь научить их выглядеть пободрее.

— В нашем распоряжении три часа. Можешь провести для них практическое занятие.

— Сдается мне, момент неподходящий.

— Почему же?

— За три часа можно успеть посмотреть один-два варианта. Если ничего не подберем, вернемся сюда к приходу симферопольского автобуса и посмотрим, что еще подвернется.

Котлер заметил, что во время их разговора кое-кто из местных навострил уши, словно почуял след. Когда Котлер с Лиорой направились в их сторону, от группки отделились и вышли им навстречу две женщины. На товарок они не походили — скорее, на конкуренток. Обе были средних лет, и каждая держала плакат с написанным от руки объявлением о сдаче жилья. Ближе к ним оказалась та, что подороднее и посмуглее. У нее были коротко стриженные волосы неестественного бордового цвета. Черты лица правильные, глаза, отметил Котлер, пронзительно синие, и хотя с возрастом кожа ее огрубела, в свое время женщина явно была хороша собой. Вторая оказалась невеличка, ниже первой и даже ощутимо ниже малорослого Котлера. Сухощавая, из выреза летнего платья торчат ключицы. Она была на добрый десяток лет моложе первой, волосы у нее были подлиннее, пшеничного цвета, натуральные. У обеих на шее виднелись золотые православные крестики. И если национальность первой женщины навскидку определить не удавалось, то вторая была явно русская, из крестьян. Игра «угадай национальность» стара как мир; каждый в ней одновременно и участник, и эксперт.

— Жилье ищете? — поинтересовалась первая женщина.

— Ищем, — ответил Котлер.

— На какой срок?

— На неделю.

— У меня есть комната. Поедемте ко мне, покажу.

— А чего это сразу к тебе? — возмутилась вторая женщина. — Я тоже комнату сдаю. Еще и поудобнее, чем твоя. До пляжа ближе. Давай спросим у клиента, что ему нужнее.

— Ее комната с моей и рядом не стояла, — сказала первая женщина. — Может, она и поближе к пляжу на пять минут, зато меньше, и ванная общая. Так что думайте, что вам лучше. По моему опыту, сейчас все предпочитают свою ванную.

— А сколько? — спросил Котлер.

— Сколько она хочет, — ответила первая, — столько и я возьму.

— А у остальных? — спросил Котлер, имея в виду тех, кто остался в тени вокзальной громадины из стекла и бетона и теперь прислушивался к их разговору с вялым, понурым интересом.

— Ступайте, поспрашивайте. Только ничего лучше вам никто не предложит. Лишь зря время потратите. Почему ко мне не хотите? Вот увидите,

вам понравится. А не понравится — вернетесь и поищете другой вариант.

— Ух и нахалка ты, Светлана, — заметила вторая женщина.

— Пардон, мадам? — вскинулась Светлана, выговаривая французские слова с кошмарным русским акцентом. — Это кто тут еще нахалка! Позоришь меня перед клиентом, бесстыжая!

— Да, отдельной ванной у меня нет, это правда, — обратилась вторая женщина к Котлеру и Лиоре, делая вид, что не замечает Светлану. — Но что моя комната меньше, я бы не сказала. И вообще она чистенькая, и ремонт недавно был. Муж у меня плотник, сам все делал. А к пляжу намного ближе, и автобус рядом останавливается. Может, чтобы не тратить время понапрасну, сначала заглянете ко мне? К ней ехать в два раза дольше.

Котлер покосился на Лиору — что она думает? Лиора всем своим видом выражала протест и отказ участвовать в голосовании.

— Откуда вы? — поинтересовалась Светлана, понемногу оттесняя вторую женщину.

— Из Америки, — Котлер снова бросил взгляд на Лиору.

— Евреи? — спросила Светлана заискивающе, что Котлера неизменно отталкивало.

— Вы всегда у клиентов об этом спрашиваете?

— У меня муж еврей, — объявила Светлана, словно гордясь этим.

— Ой, и что с того? — возмутилась вторая женщина, протискиваясь вперед. — У меня, может, дед был еврей!

— Если вы евреи, — гнула свое Светлана, — то сами понимаете, каково нашим здесь приходится.

— Ты теперь, значит, тоже еврейка? — фыркнула вторая женщина. — Не знала. А раз вы такие евреи, что вы тут до сих пор делаете? Другие евреи, что поумнее, едва стало можно, умотали в Израиль.

— Видите, что приходится терпеть? — Светлана презрительно усмехнулась.

— Ваш муж родом из этих мест? — как бы невзначай поинтересовался Котлер.

— Нет, он из Казахстана, — ответила Светлана и добавила, словно оправдываясь: — Здесь много евреев из Казахстана.

— Ну, думаю, здесь получше, чем в Казахстане, — заметил Котлер.

— Что Казахстан, что Крым — если кусок хлеба добыть трудно, то особой разницы нет.

Котлер снова обернулся к Лиоре. На этот раз

она не скрывала недовольства. Его затея ее явно не вдохновляла. Она мыслила здраво, не любила риск и была куда меньше его подвержена сантиментам. Ему бы перенять ее благоразумие, но у него никогда не получалось держать в узде свои порывы. И он был уже слишком стар, чтобы себя перекраивать.

— Разве не сказано в Торе, что прежде всего надо помогать своим сородичам? — напирала Светлана.

— Неужели? — сказал Котлер, хотя решение уже принял.

Даже довод Светланы не заставил его передумать.

Он взялся за ручку чемодана и приготовился идти. Лиора неохотно взялась за ручку своего.

— Отлично, — сказал Котлер Светлане. — Везите нас.

Два

До места добирались на «Ладе-Ниве» — довольно новой, но по виду не изменившейся с советских времен; в салоне приторно пахло розой. Дорога, свернув от побережья и извилисто пропетляв между холмами, заняла всего несколько минут — они ушли на то, чтобы представиться друг другу. Светлана сообщила им свои фамилию и имя-отчество, Котлер с Лиорой, опустив фамилии, назвались прежними русскими именами; так впервые с момента освобождения из тюрьмы Котлер снова стал Борисом Соломоновичем, а Лиора, впервые со времен детского сада в Москве, — Леной Исааковной. Это был хороший ход, хотя бы в плане погружения в прошлое. Стоило Котлеру об этом подумать, и он сразу ощутил, как одно только имя Борис возвращает ему прежнего себя. Прежнего, такого непохожего на человека, которого он волевым образом из себя вылепил. Борис. Или Боренька, как его ласково называли дома. Стоило ему мысленно произнести это имя, как в груди разлилось тепло. И хотя в последнее время он постоянно пребывал в умягченном состоянии духа, все же поразительно, насколько он стал ра-

нимым и сентиментальным. Как сильно трогали его собственные мысли и воспоминания.

Дом, куда привезла их Светлана, стоял на отдельном участке и, как и другие соседние дома, носил на себе следы обветшания и починок на скорую руку. Светлана резко свернула на ухабистый съезд и затормозила возле стены с облупившейся бледно-зеленой штукатуркой. У дома крыша была черепичная, а у пристройки — грубого протеза, приставленного к основному зданию, — из рифленого железа. Рядом с пристройкой виднелся клочок сухой травы, на котором обретались несколько вялых коричневых кур и белый гусь. На краю этого пятачка цеплялось за жизнь чахлое персиковое дерево. Обычный сельский дом. Надел земли, дающий скромные плоды. Жизнь местечкового масштаба.

Вслед за Светланой Котлер и Лиора прошли к дому, но не стали забирать чемоданы из багажника — решили оставить себе путь к отступлению. На входе они дружно отметили белую пластиковую мезузу, прикрепленную к дверному косяку. Светлана не преминула нарочито провести по ней кончиками пальцев и прижать их к губам.

— Обычно муж дома, но по субботам он рано

утром ездит на троллейбусе в Симферополь, в синагогу. А то без него может не набраться десять человек для службы, для миньяна, — это последнее слово Светлана произнесла со значением.

В доме она бегло провела их по комнатам, которые занимали она и муж. Сразу за входной дверью была гостиная — с диваном, журнальным столиком, телевизором. Дальше начинался коридор. По правую руку располагалась кухня, в ней — гарнитур (деревянный стол и четыре стула), современный холодильник, плита и глубокая, старых времен, эмалированная раковина. Слева шли три закрытые двери — за ними, по словам Светланы, были спальни — их с мужем и двух дочерей, а еще ванная. Все эти помещения, кроме кухни (ей жильцам разрешалось пользоваться), предназначались только для них с мужем. В коридоре были развешаны декоративные тарелки — образчики народных промыслов, очевидно местных, и исторические виды зарубежных городов — Кракова, Праги, Цюриха. Имелась там и деревянная дощечка с бронзовым барельефом Стены Плача — такие в Иерусалиме продаются на каждом углу. В конце коридора висел портрет в раме — жених и невеста.

— Моя старшая, — сказала Светлана, указывая

на фото. — Живет в Симферополе. Ее мужу больше нравится сидеть без работы там.

— Он тоже ходит в синагогу? — в шутку поинтересовался Котлер.

— Это не про него, — отрезала Светлана.

— А другая ваша дочь?

— Она в университете в Кракове. Учится на экономиста. Золото, а не девочка, но этим летом подрабатывает в парикмахерской, — ответила Светлана и удрученно пожала плечами.

В конце коридора обнаружилась дверь. Справа в стене было окошко, через которое сочился свет. Слева открывался выход в прихожую. Три ступеньки вниз — и снова дверь, на этот раз — в неухоженный двор.

— Отдельный вход, — сказала Светлана. — У вас будет свой ключ.

Она отперла дверь в гостевую часть дома и провела их в комнату метров в двадцать, не сказать что шикарную, но чистую и светлую. В ней было все, что нужно: письменный стол, два стула, комод с телевизором на нем и двуспальная кровать с подушками, аккуратно застеленная синим покрывалом. Пол был выложен квадратной белой плиткой, стены побелены. Над столом — прямоугольное зеркало в золоченой раме, над

кроватью — любительская акварель: берег моря, кружащие чайки и лодочка под парусом. Между столом и комодом — дверь в пресловутый туалет. Светлана отступила, чтобы Котлер и Лиора могли туда заглянуть. Там обнаружился голубой унитаз, раковина ему в тон и выгороженная приступочка с душем за прозрачной полиэтиленовой шторкой. Как и вообще вся гостевая половина, помещение было тесное, но чистое и ухоженное.

— Полотенца здесь, — сказала Светлана.

На рейке, прикрученной шурупами сзади к двери, висел шедевр советской текстильной промышленности — два тонких, жестких вафельных полотенца такого размера, что взрослому не хватило бы даже обернуть их вокруг пояса.

По завершении осмотра они вернулись в комнату; повисла пауза. Светлана по очереди посмотрела на Котлера и Лиору и спросила:

— Ну так что?

— Нам нужно немного посоветоваться, — ответил Котлер.

— Очень хорошо, — сказала Светлана.

Взгляд ее обежал комнату и споткнулся о кровать. Она повернулась и посмотрела на них обоих так, словно хотела сказать что-то без слов. Что-то, что вслух не произнесешь — слишком неловко.

— А если вам нужно что-нибудь еще…

Котлер расценил это как намек на неясность их с Лиорой отношений. Другими словами, завуалированное предложение поставить раскладушку.

— Нет, спасибо, — сказал он.

Светлана удалилась к себе, не потрудившись даже скрыть обиду — и на их промедление, и на нежелание снять комнату сей же час, и на их неминуемый отказ.

Когда она ушла, Котлер сел на кровать, немного попружинил, чтобы испытать матрас.

— Плохая это затея, Барух. Оно того не стоит.

— Где же твоя солидарность?

— Мне нет нужды доказывать солидарность, и тебе тоже.

— С солидарностью такое дело, — Котлер улыбнулся. — Ее нужно постоянно демонстрировать.

— Барух, оставаться здесь — значит нарываться на неприятности. А весь смысл нашего приезда сюда был в том, чтобы от неприятностей скрыться.

— Смысл, да. Но не весь.

— Ты понимаешь, о чем я.

— Этой женщины нам нечего опасаться.

— А ее мужа?

— Казахского еврея из крымского городка?

— Русского еврея. А есть ли в мире хоть один русский еврей, который бы тебя не знал? Я такого не встречала.

— Поди сюда, сядь.

Котлер похлопал по кровати рядом с собой. Лиора с неохотой, но послушалась. Котлер взял ее руки, обнял ими себя за талию. Жест был отеческий, успокаивающий и одновременно откровенный. Сквозь ткань брюк Котлер ощущал ее руки — теплые, по-птичьи невесомые. Они тихо сидели, прижавшись друг к другу, и постепенно подпадали под обаяние момента. Медленно, словно устав сопротивляться, она склонила голову ему на плечо.

— Вот и славно, милая моя, — сказал Котлер.

«Ну и картина», — подумал он. Соблазнительная, серьезная темноволосая девушка сидит, положив голову на плечо пузатого коротышки, который так и не снял темные очки и шляпу. Комедия, да и только. Но девичьи пальчики пробрались между ног, и ему стало не до смеха. Вместо веселья накатило зверское желание.

— Лиора, я согласен, что это неразумно. Разумнее было бы остановиться у другой женщины.

— У крестьянки.

— Жилистой, крепкой крестьянки. Которая не

интересуется евреями и не читает международную прессу.

— Еще не поздно.

— Считай, что это любопытство. Инстинкт. А я следую своим инстинктам.

— Я думала, ты следуешь принципам.

— Судя по моему опыту, это одно и то же.

Лиора выпрямилась и заглянула ему в глаза.

— Ты знаешь мое мнение. Как еще мне тебя убедить?

— Доверяешь в большом — доверься и в малом.

— Барух, тут вопрос не доверия, а согласия. Как правило, я с тобой соглашаюсь. Чаще, чем с кем-либо другим.

— Значит, это будет исключением. Точнее, прогрессом. Во взаимоотношениях доверять куда важнее, чем соглашаться. Я прошу тебя мне довериться. Сумеешь?

— Я несогласна с тобой, Барух, но спорить не стану.

— Хорошо. В этом и заключается доверие.

Светлану они нашли на кухне, она мыла в раковине свекольную ботву.

— Так что вы решили? — спросила она, даже не подумав прерваться.

— Мы согласны, — сказал Котлер.

— Вот как? — отозвалась Светлана, нимало не обрадовавшись.

— Мы заплатим наличными за неделю вперед. Если вас это устраивает.

— Да, — безучастно сказала Светлана, — меня это устраивает.

Три

Солнце начало свой медлительный, как всегда в середине лета, спуск к горизонту, когда они наконец заселились. Светлана выдала им ключи от обеих дверей, передней и задней, после чего — в порядке одолжения — тактично удалилась. Вещи были разложены по ящикам и шкафчикам, пустые чемоданы утверждены в углу, — и Котлер с Лиорой обменялись взглядом; в этом взгляде к насмешке и беспечности примешивалась опаска. Им и раньше доводилось снимать номера в отелях, но, за исключением одного раза, лишь на вечер или вторую половину дня. Полгода назад, во время дипломатического визита в Хельсинки, Лиора упросила Котлера разрешить ей остаться на ночь. Но тогда у нее был собственный номер немного дальше по коридору. Здесь у них впервые образовалось некое подобие общего дома. Одежда висела в одном шкафу, лежала в тех же ящиках. В ванной, в тесном шкафчике, стояли рядышком их витамины, таблетки, кремы, зубные щетки. Они открыто стали тем, кем были до этого тайно, то есть вместе теперь составляли нечто иное, чем по отдельности. У Лиоры оставалась

ее иерусалимская квартира, а у Котлера, кроме этой комнаты, другого дома не было. Такие дела. Они освободились от прежних уз, вольны делать, что им заблагорассудится, — как им и мечталось, подвернись только такая возможность, — но при этом их не оставляло чувство беспокойства и тревоги. Котлер был в бегах уже почти два дня. Побросав вещи в небольшой чемодан, он выскользнул из дома в пятницу перед рассветом и спрятался сначала у себя в приемной, а потом у Лиоры. Большую часть дня они с Лиорой провели в пути, тайком вылетев ранним рейсом из Тель-Авива в Киев, а из Киева — в Симферополь, далее был автобус до Ялты, потом отель, откуда их завернули. Все это время у них не было ни минуты, чтобы отдышаться и навести справки о том, что происходит в мире. В Киеве, во время пересадки, им удалось наскоро выйти в интернет, но для откликов и комментариев было еще рановато. Оттуда Лиора позвонила отцу, и у них состоялся болезненный, неприятный разговор. Котлер стоял близко и мог слышать, что говорил ее отец, и ощущать холодок неодобрения. Лиора была единственным ребенком, папиной, по преимуществу, дочкой и всегда старалась заслужить его похвалу. Родители Лиоры, тоже сионисты и

отказники, были моложе Котлера на десять лет. Их заявку на выезд отклонили, и на последние восемь лет советской власти они оказались заперты в России, хотя, в отличие от Котлера, избежали путешествия в ГУЛАГ. Ицхак и Адина Розенберг, хорошие, интеллигентные, справедливые люди. Котлер познакомился с ними в Израиле на одном из сборищ бывших отказников — те время от времени встречались. И на такой встрече Ицхак представил ему свою юную дочь, одну из лучших студенток Еврейского университета, увлекающуюся политикой. Когда позже Котлер взял Лиору в штат, ее родители были чрезвычайно ему признательны. Было это четыре года назад. И каждый год они на Рош а-Шана посылали Котлерам корзину фруктов. Скоро снова Рош а-Шана, но Котлер подозревал, что на этот раз корзины с фруктами ему не дождаться.

Они не стали спрашивать у Светланы, как им добраться до Ялты, а, распугав живность, выскользнули через задний ход. Котлер повел Лиору к побережью. Он тешил себя мыслью, что детская память его не подведет, что впечатления от этого места живы с тех давних пор. Хотя больше помогло то, что город был не такой уж большой и отлого спускался к морю. Несколько остановок

на маршрутке — и они в туристическом центре, у площади Ленина, где, величаво обрамленный Крымскими горами, по-прежнему стоит на своем пьедестале бронзовый большевик — делает вид, что смотрит на море, а сам косит взглядом на «Макдоналдс». В свое время, подумал Котлер, добропорядочные жители Ялты решат либо сложить к его ногам новую груду костей, либо наконец его демонтировать.

Без особых сложностей отыскалось интернет-кафе; в нем было темно, как в пещере, и сидели сплошь подростки в наушниках — перекрикиваясь друг с другом, они мочили на компьютерных экранах чеченцев и талибов. За похожей игрой Котлер однажды застал Бенциона. Чувствительного книжного мальчика, на тот момент ученика ешивы. Поняв по лицу реакцию отца, Бенцион потупился и сказал: «Все ребята в это играют». Теперь он служил под Хевроном, и ему стало не до игр.

В глубине кафе Котлер и Лиора нашли два свободных компьютера рядом и погрузились в израильскую прессу. Долго искать не пришлось. На первых полосах и в «А-Арец»[2], и в «Джеруза-

[2] Примечания: 2

Старейшая ежедневная израильская газета, выходит на иврите и на английском языке.

лем пост» красовался один и тот же снимок — они с Лиорой в тель-авивском аэропорту. Снимок был сделан в тот момент, когда они предъявляли документы на билетной стойке. Снял издалека, украдкой, скорее всего, кто-нибудь из пассажиров — профессионалы подобной стыдливостью не страдают. Но даже на таком снимке они все равно были узнаваемы, особенно он — хотя, если мериться дурной славой, Лиора, видимо, уже сравнялась с ним. «А-Аарец» в пандан еще поместил фотографию его жены на рынке возле их иерусалимского дома, где она делала покупки к шабату. Мирьям на фото была воплощенная верная супруга, удрученная вероломством мужа. Весь ее комментарий сводился к отказу обсуждать «внутрисемейный вопрос». Котлер представил эту сцену: рынок, наседающие, умоляющие журналисты. Только в случае с Мирьям шансов у них не было. Тут Котлер с нежностью улыбнулся. Мирьям — скала. В свое время она прошла суровую школу и теперь обращалась с прессой с осмотрительностью бывалого имидж-консультанта. Репортеры могли самонадеянно думать, что застали ее врасплох, но Котлер был бы удивлен — и, откровенно говоря, разочарован, — если бы выяснилось, что Мирьям не срежиссировала все

это сама, вплоть до картошки, оказавшейся у нее в руке в момент, когда ее снимали.

В обеих газетах на первой полосе, помимо «оскандалившегося Котлера», была новость о том, что кнессет проголосовал за уход из поселений[3]. Все произошло ожидаемо: коалиция премьер-министра восполнила лакуны и добилась минимального перевеса голосов. Котлер, не желая проходить по спискам как просто воздержавшийся, проголосовал накануне, незадолго до своего постыдного бегства. «А-Арец» упомянула его в списке видных оппонентов, назвав самым значительным отступником из числа членов кабинета премьер-министра. Далее неизбежно следовали высказывания представителей различных фракций. Все те же голоса, все те же песни. Премьер-министр ссылается на необходимость иметь такие границы, которые мы можем защитить, и на благополучие Государства Израиль. Начальник штаба рапортует о железной дисциплине в армии. Левые ликуют. Правые возмущаются. Американцы аплодируют. Поселенцы

[3] Примечания: 3

Речь идет о выводе еврейских поселений с территории сектора Газа, а также частично из Самарии, так называемом Плане одностороннего размежевания (известен также как «Размежевание»). Он был осуществлен в 2005 г. по инициативе премьер-министра Ариэля Шарона.

угрожают неповиновением вплоть до кровопролития. А палестинцы выражают протест.

Гвалт этот будет продолжаться до тех пор, пока операция не состоится. Что произойдет потом, никто не знал. По мнению Котлера, *ничего хорошего*. Вопрос лишь в том, насколько все будет плохо.

Лиора тронула его за плечо. На экране ее компьютера открылась колонка одной из израильских русских газет. Все с той же зернистой фотографией из аэропорта.

— Хоть кто-то нашелся, кто сложил один и один, — сказала Лиора.

Этим «кем-то» оказалась Хава Марголис, его старая приятельница, а ныне враг, бывшая предводительница московских сионистов, суровая, аскетичная Крупская их движения. Она свидетельствовала против него на иерусалимском процессе, а потом пыталась его сковырнуть, но здесь она говорила то, что сказал бы любой разумный человек: со стороны премьер-министра было цинично разрушить семью человека только за то, что он не прогнулся и пошел против его политической воли. Этот поступок замарал премьер-министра куда больше, чем Котлера, тем более что в итоге политическая цель не была достигнута. И даже люди, как и она, давно

разочаровавшиеся в Котлере, хотят не злорадствовать по поводу его унижения, а задуматься над тем, что за подлая душонка у человека, который управляет их страной. Потом она, как того требовала профессиональная журналистская этика, прибавила, что обвинения ее против премьер-министра пока голословны, ибо не найдены доказательства, что эти порочащие снимки были анонимно слиты прессе с его ведома. Но, как ей кажется, поверить, будто премьер-министр тут ни при чем, способен лишь запредельно наивный ребенок. А лично она ни одного такого не встречала во всем Государстве Израиль.

Котлер понимал, что никаких свидетельств не найдут. Премьер-министр был кто угодно, только не дурак. Вряд ли пресса сумеет отыскать даже следы того, кто с ним беседовал. Котлер знал агентов службы безопасности и шпионов, причем в количестве сверх положенного, и среди них, как и везде, попадались и балбесы, и настоящие спецы. Но человек, который представился Амноном и назначил ему встречу, был матерым профессионалом.

Два дня назад этот Амнон позвонил ему на мобильный — на личный номер, в обход персонала. Как он раздобыл этот номер, объяснить не потру-

дился. Спросил, не встретится ли Котлер с ним вечером в парке у Музея Израиля, чтобы обсудить вопрос, имеющий далеко идущие последствия не только для страны, но и для личной жизни самого Котлера. Наказал прийти одному.

— Не бойтесь, — сказал этот человек. — В плане физической безопасности вам ничего не угрожает.

Зато угрожает в каком-то другом плане — такой вот намек.

Котлер отчасти подозревал, в чем тут дело. Последние несколько недель он критиковал решения премьер-министра о выводе всех еврейских поселений. Сначала Котлер делал это сугубо *кулуарно*. Из политических соображений они — он и премьер-министр — в большинстве случаев выступали единым фронтом. Котлер предоставил в распоряжение премьер-министра восемь мандатов, полученных русской партией иммигрантов на последних выборах, и это позволило премьер-министру сформировать правящую коалицию. Взамен Котлеру достался министерский портфель, а заодно прилагающиеся к нему статус и влияние. К этому добавлялось уважение, которое по старой памяти к нему испытывали как к герою-сионисту прежних времен, хотя полити-

ка быстро сбивала спесь — со всех без разбору. В общем, когда премьер-министр остался глух к его возражениям, Котлер открыто заявил о своем несогласии — сначала в кнессете, а затем в «Нью-Йорк таймс», в разделе политических комментариев, где пообещал подать в отставку, если премьер-министр осуществит свой план. После этого начался обычный прессинг. На его приемную обрушился шквал гневных звонков и писем. Премьер-министр стал подсылать своих приспешников — сначала с пряником, потом с кнутом. Все это было вполне в рамках того, что в Израиле считается нормальным ходом политической жизни: даже в лучшие времена никто ни с кем не миндальничает. Но привлечь такого человека, как Амнон, — это было уже за гранью.

И все равно Котлер бестрепетно согласился на встречу. Не из любопытства и не из страха, а потому, что по опыту знал: с людьми вроде Амнона иначе нельзя. Таких надо встречать лицом к лицу, глядя прямо в глаза. Иначе они решат, что у них над тобой власть.

На встречу с Амноном Котлер отправился в восемь вечера, едва опустились сумерки. Деревья отбрасывали длинные ломкие тени. Через парк струился редкий поток людей — простые иеруса-

лимцы, радующиеся спавшей жаре, и последние посетители музея. Котлер шел по дорожке, лишь изредка бросая взгляд по сторонам. Ничто в его облике не выдавало напряжения. Да он его и не испытывал. Его охватило знакомое ощущение, что все идет как должно. Что перед ним цель и надо двигаться вперед. Всего пятнадцать минут назад он закончил ужинать, встал из-за стола и, поцеловав жену и дочь, вышел из дома.

В назначенном месте Котлера ждал громила лет под пятьдесят. Темные волосы стрижены ежиком, солнцезащитные очки. Желтая футболка-поло плотно обтягивала его широкие плечи и мощные руки. Довершали образ синие джинсы и модные спортивные сандалии вроде тех, в которых ходят в походы. Он напоминал своих ровесников-сабров из определенных кругов — они тщились походить на полковников в отставке и смотрели на мир с ленивой насмешкой бывалых вояк. В левой руке, небрежно упертой в бедро, он держал большой конверт из коричневой бумаги. При виде Котлера здоровяк заулыбался и протянул правую руку — прямо как школьный приятель или любимый родич. Котлер подыграл и позволил увлечь себя на свободную скамейку под раскидистым рожковым деревом.

Там, в относительной уединенности, у них завязалась беседа, которую случайный свидетель счел бы исключительно дружеской. Никто не повышал голос, не хмурил брови. Полнейшая невозмутимость. Так такие дела обычно и делаются.

Амнон сказал:

— Меня прислала одна заинтересованная сторона.

— И что же это за сторона? — спросил Котлер.

— Не имеет значения.

— Неужели?

— Господин Котлер, вы политик. Вы заняли непопулярную позицию. Вашим поведением огорчены многие люди. Некоторые из них обратились ко мне. Кто именно? Ави, Йоси, Моше, Дади. Зачем вам знать? Не стану называть имен, чтобы не отвлекаться от главного. Имена здесь не главное.

— Итак…

— Итак, эти люди хотят дать вам еще один, последний, шанс передумать.

— Видите? Говорите, имена не важны, а они важны, и еще как. Потому что, если бы эти люди хоть сколько-нибудь меня знали, они бы поняли, что все это бесполезная трата времени. В случае со

мной вы далеко не уедете. Я известный упрямец, господин Амнон. Я славлюсь своим упрямством. Полагаю, вы об этом осведомлены.

— Да, господин Котлер. И безмерно вашим упрямством восхищаюсь. Однако, полагаю, вы осведомлены о том, что даже без вашего содействия голосование все равно пройдет не в пользу поселенцев. В данном случае ваше упрямство ничего не изменит.

— Чем же я тогда мешаю?

— Дело в том, что людям, которых я представляю, хотелось бы, чтобы все прошло как можно спокойнее. Их заботит безопасность — как солдат, так и поселенцев. И здесь крайне важен эмоциональный аспект. А вы человек влиятельный. Люди вас уважают. К вашим словам прислушиваются. Если вы по-прежнему будете выступать против операции, это может спровоцировать нежелательную реакцию. Не исключено, что вы даже не отдаете себе отчета, к каким последствиям это способно привести.

— Если люди, которых вы предоставляете, опасаются последствий, то передумать стоит не мне, а им. У нас демократия, господин Амнон. Мы живем в Израиле, не в Иране. При демократии каждый может говорить, что думает. Когда я

выступаю против этого плана, моя задача — не вызвать нежелательную реакцию, а удержать свою страну от нежелательной ошибки.

— Все это прекрасно, господин Котлер. Только вы развили слишком бурную деятельность. Высказываетесь в кнессете, на страницах «Нью-Йорк таймс». Вас просто просят вести себя потише. Не поднимать шума — не уходить из кабинета. Никто не просит вас поддержать операцию. Просто на время отойти в тень.

— Господин Амнон, скажу напрямик. Я провел тринадцать лет в советских тюрьмах и лагерях, чтобы получить право приехать в Израиль. Если вы или люди, которых вы предоставляете, думаете, что меня можно запугать этой кагэбэшной чернухой, то вы ошибаетесь.

— Господин Котлер, другого я от вас и не ждал. Признаться, я был бы даже разочарован, ответь вы иначе. Но если ваше противодействие все равно ничего не изменит, зачем, позвольте спросить, вам попусту собой жертвовать?

— Теперь речь зашла о жертвах?

— Поверьте, мне это отнюдь не доставляет удовольствия.

— КГБ, господин Амнон, работал ровно по такому же сценарию.

— На самом деле я пытаюсь вас защитить.

— Слово в слово.

Амнон уронил левую, упиравшуюся в бедро руку, на конверт у себя на коленях.

— Так не хочется этого делать, — сказал он.

— Давайте без рисовки, — сказал Котлер.

Амнон удрученно улыбнулся и постучал указательным пальцем по конверту. И стал потихоньку сдвигать его на колени Котлера. Делал он это словно бы с глубочайшим сожалением, словно бы под дулом пистолета. Котлер к конверту не прикоснулся.

— Не стесняйтесь, открывайте, — сказал Амнон.

— Не имею ни малейшего желания, — ответил Котлер.

— И кто из нас теперь рисуется?

Котлер взял конверт — внутри было что-то гладкое и гибкое — и вернул его Амнону.

— Это фотографии, господин Котлер.

— Я понял.

— Призываю вас на них взглянуть, прежде чем отвергнуть мое предложение.

— Господин Амнон, надеюсь, у вас не сложилось впечатления, будто я готов к переговорам. Что бы ни было на этих фотографиях, это не

заставит меня передумать. Смею вас заверить, свои уязвимые места я прекрасно знаю. Однако если, упаси Господь, на этих снимках есть что-то неблаговидное, что касается моих детей или жены, надеюсь, ваши люди, если не из моральных, то хотя бы из политических соображений не станут их публиковать. В любом случае у меня нет никакого желания копаться в вашем мусоре.

Разговор был окончен. Амнон ушел и унес свой мусор, а на следующее утро он оказался вывален на первые полосы всех израильских газет.

Четыре

В плиты набережной — явно в рамках какой-нибудь недавней программы по благоустройству — были вделаны круглые галогеновые лампочки. Освещенная дорожка тянулась от площади Ленина почти на километр, до отеля «Ореанда». Поужинав в ресторане с видом на площадь и гавань, Котлер и Лиора пошли вдоль этой дорожки — расслабленно, впервые с того момента, как грянул скандал, не ощущая себя преступниками, которых гонят и преследуют. Дневная жара спала, вечерний воздух был мягок и умиротворяющ и, словно сочувствуя, изливал на них благодать. Дневная толпа поредела, и пешеходы на набережной продолжали двигаться как бы по инерции — неспешно и с виду бесцельно. В одном месте шеренга магазинов и ночных клубов делила набережную надвое. Нижнее ответвление уходило к побережью; верхнее тянулось между двумя рядами магазинных витрин. Котлер и Лиора бездумно свернули на верхнюю часть и оказались среди собственных отражений в темных витринах по обе стороны. Очутиться на открытом месте, среди своих бесконечно двоящихся образов, было все

равно что ненароком выступить с откровенным саморазоблачением. В этом зеркальном коридоре они не просто были на виду — их нельзя было не заметить.

Какое-то время шли молча. Со стороны могло показаться, что эти бредущие под руку люди наслаждаются обществом друг друга, а вовсе не угодили в ужасный переплет, отчего человек послабее устройством, чем Котлер, — и, надеялся он, чем Лиора, — непременно выкинул бы что-нибудь опрометчивое, безрассудное, непоправимое. Котлер умел взять себя в руки, в этом он был мастером мирового уровня. Он умел совладать с собой при обстоятельствах куда более отчаянных, чем нынешние. И чтобы это себе доказать, он отыскал в памяти милый эпизод из детства, случившийся на этом самом месте пятьдесят три лета назад.

— Я рассказывал тебе, что мой отец был спортсменом-любителем? — спросил он у Лиоры.

Она покачала головой.

— Во Львове, в детстве, в досоветские еще времена, он играл в футбол и занимался легкой атлетикой в спортивном клубе «Маккаби». Считался там лучшим спринтером.

— Об этом ты мне тоже не рассказывал. Твой

отец был сионистом?

— Я никогда от него ни о чем таком не слышал, пока не объявил, что хочу эмигрировать в Израиль. Когда рос, я понимал, а скорее, как обычно дети в таких случаях, угадывал, что отец недолюбливает Советы. Он позволял себе туманные высказывания. Тайно слушал Би-би-си. Но пока я сам не определился, я и знать не знал, что раньше он был самым прытким малолетним сионистом Львова!

— Ничего такого ты мне не рассказывал, — сказала Лиора.

Когда родился Котлер, отец бегать уже не мог. На фронте его ранило в колено, а толком его не залечили. Тем не менее любовь к спорту он сохранил и пытался привить ее сыну. Внешне они были очень похожи — с довоенных времен сохранилось несколько детских фотографий отца, и поразительное сходство между ним и Котлером бросалось в глаза. Даже сейчас, глядя в зеркало, он видел отцовские черты. И все больше их в себе выискивал — но это уже отдельная история. Но, несмотря на всю похожесть, отцовские способности к бегу Котлер не унаследовал. Отец не желал с этим смириться. Пока Котлер был маленьким, он пытался его тренировать. Выводил на улицу,

отмерял пятьдесят метров от дерева или фонаря и заставлял бежать. Обставлялось все честь по чести. Котлер принимал низкую стойку, отец следил за временем по наручным часам. *«Боря, на старт, внимание, марш!»*

Явственно припомнился один из таких забегов. Длинный тротуар возле их дома во Львове. Отец выкрикивает команды, а соседи насмешливо улюлюкают: *«Жид, жид, на веревочке бежит»*. И здесь, в Ялте, чуть не на этом самом месте, он тоже устроил ему тренировку. *«Соломон, хватит мучить ребенка!»* — уговаривала мать, но отец от нее отмахнулся. Тем временем маленький Боренька стоял на карачках и смотрел через плечо на отца — тот сжимал часы между большим и указательным пальцами правой руки и пристально вглядывался в циферблат. Котлер знал, что бегает плохо, но очень хотел угодить отцу. И мальчишеское его сердце так до конца и не рассталось с надеждой, что каким-то чудом в следующий раз скрытая в ногах быстрота вдруг проявится и ноги так замолотят по воздуху, что превратятся в смазанное пятно.

Котлер высвободил руку и вручил Лиоре шляпу.

— Засеки время, — попросил он с озорной улыб-

кой. — Отсюда и до той тумбы.

Лиора удивленно вскинула бровь, но Котлер уже наклонялся вперед, чтобы занять некое подобие спринтерской стойки — насколько это позволяли последствия возраста и малоподвижного образа жизни.

— Куда звонить, если тебя хватит инфаркт?

— В «скорую», — ответил Котлер.

Поднял голову и посмотрел на Лиору.

— Отсюда и до той тумбы, — повторил он. — На старт, внимание, марш!

Лиора с мягкой укоризной покачала головой, но вскинула запястье и сжала свои наручные часики большим и указательным пальцами, совсем как отец.

Редкие прохожие благодушно, но не без удивления наблюдали, как по набережной, подбрасывая локти и колени, с пыхтением несется низенький пузатый еврей. Добежав до тумбы, Котлер хлопнул по ней ладонью и удовлетворенно, громко хмыкнул. После чего потрусил обратно к Лиоре, словно довольный собой спаниель.

— Ну как я пробежал? — спросил он.

— Установил новый мировой рекорд, — ответила Лиора. И, протянув руку, ласково отерла испарину с его лба.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Как мальчишка.

— Ты и есть мальчишка, Барух. Тебя упрекают, что ты связался с молоденькой, но на деле это я связалась с юнцом, — с нежностью сказала Лиора.

— Это благодаря тебе я снова юнец.

На улице Карла Маркса обнаружилось много свободных машин — по одну сторону официальные такси, по другую — седаны без «шашечек». Водители седанов — хмурые мужчины со скучающим выражением лица — стояли, прислонившись каждый к своему автомобилю. Таксисты держались вместе — курили и зубоскалили. Один из них, коренастый мужчина в бейсболке и желтом светоотражающем жилете вроде тех, что носят дорожные регулировщики или рабочие на стройке, время от времени переговаривался по рации и отрывистым тоном передавал заказы подходившим к нему водителям.

Котлер и Лиора оказались на стороне с седанами, поэтому направились к водителю того из них, что стоял первым. Он походил на кавказца — резкие черты лица, густые черные усы. Он с таким видом наблюдал за тем, как они приближаются, словно ждал от них подвоха.

— Пассажиров берете? — добродушно поинтересовался Котлер.

— Беру. Вам куда?

Котлер назвал улицу.

— Сто гривен, — бросил мужчина.

Сумма эта составляла, вряд ли случайно, около десяти долларов, вполне им по карману, но, по ощущениям, была страшно завышена. Давно уже не в привычках Котлера было позволять силой брать над собой верх. В этом отношении рекомендуется ни перед кем не пасовать. Дашь в чем-нибудь слабину, упустишь самую малость — и это создаст дурной прецедент, подорвет основу твоего характера.

— Дороговато, — сказал Котлер.

— Не нравится, — сказал водитель, — валите на ту сторону. Спросите кого-нибудь там. Но я свою машину купил сам. Она моя личная. «Ниссан максима». Отдал за нее свои кровные. Я о ней забочусь. Я за нее отвечаю. Так чего ж вы хотите, чтоб я получал гроши?

— Понимаю, — сказал Котлер и взял Лиору за руку.

Даже если в переговорах в качестве уловки использовался праведный гнев, Котлеру было плевать. Он и в более уважительных случаях на

такое не поддавался.

— А понимаешь, так плати! — заорал им вслед водитель.

Котлер и Лиора перешли на другую сторону улицы, туда, где стояли такси.

— И нас еще спрашивают, отчего нам не замириться с Арафатом, — заметил Котлер.

Человек в жилете и бейсболке явно был тут за главного, так что к нему Котлер и обратился.

— Пятьдесят гривен, — сказал мужчина, сразу сняв необходимость торга.

— Прекрасно, — ответил Котлер.

И был удивлен, когда мужчина направился к головному такси, стащил жилет и через водительское окно закинул его вместе с рацией на пассажирское сиденье. Затем открыл водительскую дверцу и забрался внутрь. Котлер озадачился вопросом, как другие такси останутся без своего командира. Но разве прелесть жизни — не в ее оторванности от здравого смысла? Машина, снова «Лада» и снова небольшая, завелась, и Котлер с Лиорой уселись на заднее сиденье.

Водитель поддал газу, и машина рванула с места. На дороге было свободно, но водитель мчался сломя голову, словно дико опаздывал. Лавировал между более медленными автомобилями, резко

входил в повороты. Котлера и Лиору швыряло друг на друга, как на родео в луна-парке.

— Мы на отдыхе, — сообщил водителю Котлер.

— Что?

— Мы на отдыхе, дружище. Никуда не торопимся.

— А, простите. Привычка, — сказал водитель и сбросил газ.

Он посмотрел на них в зеркало заднего вида — так, словно в первый раз увидел.

— Откуда вы? — спросил он.

— Из Москвы, — ответил Котлер, перебрав в уме варианты и выбрав наиболее подходящий.

— Из Москвы? Интеллигенты вроде вас? Что вы здесь забыли?

— В смысле?

— Из Москвы к нам редко приезжают. Особенно интеллигенты. Сейчас модно ездить на Запад. В Турцию, на Кипр.

— На Западе мы были. Потянуло в Крым по старой памяти.

— Понятно, — сказал водитель. — Ну разве что вы давно здесь не были. Не мне судить. Я сюда уже двенадцать лет каждое лето езжу. Как по мне, лучше бы на Кипр. Но на это нужны деньги. А вы там были?

— Я был, — сказал Котлер. — Но только по работе.

— Вы бизнесмен? Банкир?

— Ни то ни другое. Я работаю в сфере международного развития.

— Вот как? — водитель предсказуемо потерял к нему интерес.

На самом деле Котлер ездил туда в составе оплаченной ООН миссии, чтобы выяснить, глубоко ли киприоты-турки и киприоты-греки закопали топор войны. Редиску на такой глубине уже можно выращивать, решил Котлер. Через поколение или два дело, возможно, дойдет и до олив.

— Даже после кризиса россияне, говорят, все равно держат на Кипре свои счета, — продолжал водитель.

— Похоже на то, — ответил Котлер. — Сам я не держу. А вот Лена да.

— Правда? А сложно его открыть?

— Чем больше денег, тем проще, — сказала Лиора.

— Что верно, то верно! — радостно подтвердил водитель.

Они свернули с главной дороги и углубились в темень, в холмы. Водитель петлял по улицам — плохо освещенным, с редкими указателями.

Вдобавок он то и дело оборачивался, чтобы подробнее расспросить Лиору о якобы имеющемся у нее анонимном счете в банке. «Самое подходящее завершение всех моих достославных битв», — подумалось Котлеру.

— Будь у меня деньги, я бы упрятал их туда. А потом бы ездил в отпуск и навещал, — смеялся водитель. — Отдых — лучше не бывает! Повалялся несколько часиков на пляже, потом заскочил в прохладный подвал к своим денежкам, подержал их в руках, убедился, что все в целости и сохранности. Так ведь живут богатые?

— Раз в неделю, как штык, мы ходим в банк, чтобы подержать свои деньги в руках, — сказала Лиора. — А иначе просто можем заболеть.

— Ха! — рассмеялся водитель и поймал в зеркале заднего вида взгляд Котлера. — Какая девушка! Повезло вам.

— Безусловно, — сказал Котлер.

— А ваша благоверная в курсе? — спросил водитель.

— Простите, что?

— Благоверная ваша, — охотно повторил водитель. — Моя в Донецке, я сам оттуда. Сюда только на лето приезжаю. На заработки. Здесь у меня тоже девушка. Обычное дело. Моя благоверная

в курсе, но у нее на этот счет взгляды современные.

— А у моей, — сказал Котлер, — взгляды дремучие.

В гостиной дома горел свет. Из-за закрытых окон невнятно доносились звуки телевизора — то громогласные, то едва различимые. Держась за руки, Котлер и Лиора, спотыкаясь, пробирались в темноте вдоль стены все еще незнакомого дома. Котлер боялся вспугнуть гуся или какую-нибудь из кур, но, видимо, птица уже уселась на насест. Чинная, солидная, домашняя куриная жизнь. Никаких тебе взлетов, зато и никаких тревог.

Котлер нашарил замок и отпер дверь. Лиора вошла, а Котлер, придержав ее за руку, остался у порога.

— Мне нужно позвонить своим, — сказал он. — Наберу Дафну.

По лицу Лиоры скользнула тень, но почти сразу к ней вернулось ее всегдашнее самообладание.

— Нужно сообщить им, что со мной все в порядке.

— Конечно.

Она прошла в комнату, предоставив Котлеру самому закрыть за ней дверь.

Он отошел от дома и остановился посредине

поросшего травой клочка. Ничего лучше в таком положении не предпринять. Отец звонит юной дочери, чтобы признаться в плотском грехе: такой звонок следует делать, стоя на вершине самой высокой горы либо качаясь на волнах посреди океана, где ты не более чем крохотное пятнышко на темной сцене, ничтожное на фоне библейской безбрежности. Такой разговор, Боже упаси, никем, кроме Бога, не должен быть услышан.

Три раза привычно нажать пальцем на экран — последовательность мелких движений, привычных, почти уже безотчетных, — и у Котлера перед глазами всплывает имя Дафны и ее номер. Он тыкает в экран, и стеклянный брусочек издает сигнал. Так сейчас происходят эти ужасные вещи — в несколько касаний. Не то что прежде: тогда писали письма за кухонным столом или в тишине тюремной камеры — ни дать ни взять церемония. И даже не то что телефонная будка с ее громоздким, подзуживающим, ворчливым аппаратом. Только с церемонией или без, а последствия те же самые. Ты принимаешь решения, и тебя рано или поздно привлекают к ответу.

Котлер вслушивался в просительные гудки телефона. Он знал, как это работает. У абонента высвечивается имя, так что Дафна будет знать,

что звонит он. В Ялте сейчас половина двенадцатого вечера, в Иерусалиме столько же. В это время, и даже позже, Дафна вовсю болтает с друзьями по телефону. Они с Мирьям периодически выговаривали ей за это, но особо не усердствовали. Дафна была славной девочкой, хорошо училась. По меркам ее сверстников, Дафну даже нельзя было назвать бунтаркой. Мирьям хотелось от нее побольше усердия в вере, но, учитывая, что сам Котлер религиозным рвением не отличался, на большее Мирьям рассчитывать не приходилось. В семьях всегда возникают всевозможные комбинации, союзы и общности — неустойчивые, готовые легко рассыпаться в прах, но в их случае расклад вышел довольно заурядный: сын пошел в мать, дочь — в отца. Так что Мирьям посчастливилось передать всю свою безграничную любовь к Богу и Его суровым предписаниям Бенциону. А вся независимость, вся непокорность духа, присущие Котлеру, были то ли переняты, то ли унаследованы его дочерью. Даже если Дафна на него злится, она, как и он, не станет юлить, выскажет все как есть.

— Где ты? — осведомилась дочь совершенно родительским тоном.

— В надежном месте, — ответил Котлер.

— Еще один секрет? — съязвила она. — Я тебе звонила.

— Знаю, Дафночка, — сказал Котлер. — Мне очень хотелось тебе позвонить, но раньше не было возможности.

В трубке послышалось шуршание — дочь явно куда-то шла.

— А ты-то где? — спросил он.

— Дома.

Снова зашуршало. Потом стихло.

— А мать дома?

— Ты позвонил, чтобы с кем поговорить — со мной или с ней?

— С тобой.

— У нас рабби Гедалья. Они с мамой в другой комнате. Они знают, что я разговариваю с тобой.

— Как она?

— А ты как думаешь? Ты ее очень обидел, папа. Она этого не заслужила.

— Ты права. Не заслужила.

— Но ты все равно так поступил.

— Дафна, это две разные вещи. Первую отцу с дочерью обсуждать не пристало. А что касается второй, то просто поверь, что у меня не было выбора.

— Я тоже не жажду говорить с тобой о сексе,

только я не наивная девочка и вообще уже не ребенок. И не забывай: мы живем в Иерусалиме, а тут повернуты на сексе, как нигде в мире, — половина народу ходит в шерстяных балахонах, лишь бы только не путаться с каждым встречным-поперечным. А ты, значит, шерстяной балахон не носил и пошел на поводу у своей похоти.

Похоти. Слово это она произнесла смело и бесстрастно, словно пытаясь не выдать своего отвращения к позорным отцовским страстям.

— Не хочу даже произносить ее имя. Меня тошнит от одной только мысли, что она все это время крутилась у нас в доме — вся из себя преданная, вся из себя почтительная. В подруги ко мне набивалась. Ни стыда ни совести у человека. Ну да что теперь об этом говорить, правда?

— Что я, по-твоему, должен сказать, Дафна?

— Ты на ней женишься?

— На будущее я пока не загадываю. Ни на счет этого, ни на счет многого другого.

— Не понимаю. Зачем тогда ты допустил все это безобразие?

— Я же сказал, Дафна: у меня не было выбора.

На другом конце трубки повисла пауза. Дочь явно начинала раздражаться и закипать. Котлер представил, как она сидит на кровати в сво-

ей комнате и, скрестив ноги, смотрит в стену умными темными глазами. Как отцу сказать ребенку, что любишь его? Любишь всем сердцем. Любишь, даже когда он на тебя злится. Ибо что есть эта злость, как не досада, круто замешанная на любви?

Котлер ждал, когда Дафна снова заговорит. Она была в привычном месте, у себя комнате. Он мог ее себе представить, а она его нет. Да он сейчас едва ли мог и сам себя представить. Вдалеке, на фоне освещенного луной неба, резко чернели очертания Крымских гор. Дорога была пустынна, лишь изредка ее обшаривали фары проезжающих машин. Приземистые домики — даже в темноте видно, что наспех слепленные, убогие, — вызывали жалость. Освещенный квадрат окна прямо перед его глазами обнажал повседневную прозу жизни их с Лиорой домовладельцев. Он увидел, как Светлана, со свернутой газетой в руке, встала и прошла по комнате. Остановилась и, полуобернувшись, сказала что-то тому, кого Котлеру было не видно. Еврейскому мужу, предположил Котлер, вернувшемуся домой после исполнения общинных обязанностей.

— Ты сказал, что у тебя не было выбора, — наконец сказала Дафна, — что ты имел в виду? Не

понимаю. Какого такого выбора у тебя не было?

— Меня шантажировали, — ответил Котлер.

— Шантажировали?

— Я все еще считаю, что нельзя вступать в переговоры с террористами.

— А чего эти террористы хотели?

— Неважно, чего они хотели. Они это не получат, и точка.

— И все же, что им было нужно?

— Мое молчание.

— А что они обещали, если ты будешь молчать?

— Тоже молчать.

— Тоже молчать? О тебе и о ней?

— Я не спрашивал.

— Но ведь речь была именно об этом.

— Как потом оказалось, да.

— А ты не понимал, что они собираются сделать?

— Прекрасно понимал.

— Понимал и все равно на это пошел? — Дафна почти срывалась на крик. — Ты что, не представляешь, каково нам теперь?

— Представляю, Дафна, только одно с другим тут не связано. Если речь идет о принципах, нельзя соглашаться. Ни при каких обстоятельствах.

Согласись я — и было бы только хуже. Намного хуже для всех нас. Для нашей страны и для нашей семьи, а она — часть этой страны.

— Да плевать на страну, когда у нас семья рушится! Стране на нас наплевать. Ты открой газеты, почитай, что о нас пишут. Послушай, какие гадости говорят про нас по телевизору. У тебя там есть телевизор?

— Нет.

— Бенциону ты звонил?

— Еще нет.

— Он молчит, но ты только представь, каково ему сейчас. Об этом ты подумал? Ему приходится во всем этом вариться. В армии ему предложили взять отпуск. Он бы ему сейчас не помешал. Я уговаривала его. Но он ни в какую.

— Дафночка, это пройдет. Просто поверь мне. Говорю по своему, увы, огромному опыту.

— Опыт у тебя огромный, папа, знаю. Все это знают. Ты раз за разом жертвуешь собой ради страны, а над тобой все равно насмехаются. Причем насмехаются как раз над этой твоей жертвенностью. А тогда зачем? Пусть другие тоже собой жертвуют. А если никто больше не хочет, ради кого твои жертвы?

Некто жертвует собой ради соотечественников,

как ради собственных детей. Он поступает так, потому что ощущает, что ему ведомо больше, чем им. Он видит в них то, чего сами они в себе не видят. Он неустанно верит в них, как верил Господь в израильтян, народ упрямый и жестоковыйный, ропчущий даже в момент своего спасения, малодушничающий, погрязший в бесконечных склоках, мгновенно забывающий явленные знамения и чудеса. Он с ними заодно, даже в худших их проявлениях, иначе он чувствует себя неприкаянным. Неприкаянным и сирым. Ему необходимо быть причастным к чему-то большему, чем он сам.

Но ничего этого Котлер не сказал и попрощался.

Время было позднее, дело шло к полуночи, и Котлер решил, что сегодня уже поздно звонить Бенциону. Кроме того, он так и не смог привыкнуть к тому, что солдату на службе можно позвонить. Даже два с лишним десятка лет жизни в Израиле не изменили его представлений семидесятилетней давности, идущих из детства, и отцовских рассказов о Восточном фронте. Рассказы эти, вкупе с несколькими фотографиями и пачкой пожелтевших треугольничков полевой почты с отметками цензуры, глубоко въелись в

сознание Котлера.

В окне что-то шевельнулось, и Котлер оторвался от созерцания черных горных вершин. Не успел он ни о чем подумать, а колени уже дрогнули, повинуясь неодолимому порыву упасть на землю, спрятаться. Котлер сумел удержаться и выпрямился, только колени все равно немного и нелепо подгибались. Сердце колотилось так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Такого страха он не испытывал уже невесть сколько лет. В окне, повернувшись к Котлеру в профиль, стоял, погруженный то ли в заботы, то ли в раздумья, муж Светланы. В голове у Котлера завихрились мысли, дельные вперемешку с несуразицей. Он знал, что мужчина не может его увидеть, но боялся: а вдруг увидит? Знал, что на дворе две тысячи тринадцатый год и что Советского Союза больше нет, но ему казалось, что его вот-вот накроет стылая тень КГБ, что прежние его палачи где-то рядом. Знал, что он теперь гражданин Израиля, муж и отец, известный диссидент, но все равно чувствовал себя затравленным, уязвимым и не мог преодолеть ужаса. Человек в окне моргнул, устало провел рукой по седым волосам. Откашлялся, что-то сказал жене, прищурившись, выслушал ее ответ и, шаркая, вышел из комнаты.

Пять

Когда Котлер вошел, Лиора смотрела телевизор. Едва взглянув на экран, он сразу узнал фильм — «Белое солнце пустыни», советская картина, некогда его любимейшая. Она вышла в тысяча девятьсот семидесятом году, ему тогда было двадцать, и он делал первые робкие шаги по диссидентской стезе. Прочитал в самиздатском переводе «Эксодус» Леона Юриса. В разношерстной компании позволял себе высказывания небезопасного толка. Ничего серьезного. Тон картины — суховатый, лаконичный, мягко высмеивающий советские мифы о революции — пленил его. И музыка тоже, особенно знаменитая баллада Окуджавы, а Котлер в те времена еще причислял себя к студентам и меломанам. Пока Лиора не выключила телевизор, на экране успели промелькнуть закутанные в паранджу женщины, семенящие по узкой улочке пыльного азиатского городка. Женщины в парандже, дремлющие старцы с длинными бородами, решительно настроенные пришлые освободители, диковатые повстанцы-мусульмане, полыхающие нефтяные скважины — кто был способен пред-

сказать дурное постоянство этого несчастливого сюжета?

Котлер подсел к Лиоре на синее покрывало. Настроение у обоих было более чем целомудренное. Лиора держалась немного отчужденно, словно опасаясь взрыва. Путешествие, в которое они пустились, и так уже полное неурядиц, теперь, похоже, еще больше осложнилось. Главным образом, подумал Котлер, потому, что он совершенно не умел проявлять эгоизм. Впервые за свою полную самоотречения жизнь он захотел чего-то для себя — и все равно продолжает себе вредить. Когда в нем зародилась мечта просыпаться с Лиорой вместе в огромной белоснежной комнате с видом на море? Если не с момента их первой встречи, то почти сразу после того, как он взял ее в свой штат и, дальше больше, ввел в свой дом. Смышленая, расторопная девушка быстро сделалась незаменимой. Часто бывала у них по пятницам на ужинах. Стала кем-то вроде старшей сестры для Дафны и вместе с ней ходила по магазинам за той одеждой, которую Мирьям, в силу своей набожности, не признавала. Все это время между ним и Лиорой ощущалась связь — так современные устройства непрерывно обмениваются невидимым потоком данных.

Продолжалось это несколько лет. А год назад, однажды вечером, когда они допоздна заработались у него в кабинете, она подняла голову от блокнота, наткнулась на его откровенный взгляд, а он, впервые в жизни, не стал натягивать смирительную рубашку. «Как мне сдержаться? — спросил он у нее. — И нужно ли мне и дальше сдерживать себя?» Она пристально посмотрела на него и сказала: «Это вам решать». На что он ответил: «Нет, тебе». И в его кабинете произошло то, что происходит в кабинетах очень многих политиков. Стыд какой, думал Котлер и все равно следовал этой недостойной традиции.

— Что сказала Дафна? — спросила Лиора. — Помимо того, что она меня ненавидит.

— Не скупясь на выражения, назвала отца идиотом. На данный момент мнение это популярное и оспорить его трудно. Хотя я и попытался.

— И все?

— Она уже взрослая девочка. Молодая женщина. Далеко не ребенок, как она не преминула мне напомнить. Пока вот так в лоб не скажут, этого как-то до конца не осознаешь. Хотя в этом что-то есть. Рано или поздно это происходит: ребенок начинает понимать, что его родитель не такой уж взрослый, а родитель — что его ребенок по-

взрослел.

— Да ты, Барух, философ.

— В подобные моменты жизни каждый прибегает к своим порокам. Кто-то к выпивке, кто-то к философии. У большинства людей нет твоего непоколебимого самообладания — им не так повезло.

— Мое непоколебимое самообладание. А знаешь, каково быть девушкой с самообладанием? Это же все равно как изъян. До сих пор неловко вспоминать все глупости, которые я вытворяла, чтобы от него избавиться.

— Как по мне, никакой это не изъян. Наоборот, отличная штука.

— Только из-за этого ты вечно оказываешься отщепенцем. Парией.

— Нам не впервой, — сказал Котлер и взял Лиору за руку.

— Так, значит, что? — спросила Лиора. — Все остается по-прежнему? Как и было?

— В отношении нас с тобой ничего не изменилось, — сказал Котлер.

— А в другом? Если что-то случилось, не молчи, Барух.

Котлер хотел было притянуть Лиору к себе, но она заупрямилась и не поддалась.

— Тебе что-нибудь говорит имя Владимира Танкилевича? — спросил Котлер.

По ее лицу он понял: ничего. Да и неудивительно. Это имя уже давно никому ни о чем не говорит, кроме горстки посвященных. Которая становится все меньше. В живых осталось лишь несколько участников драмы, перевернувшей его жизнь.

— Он — мой рыжий Мотеле, — с вымученной улыбкой сказал Котлер.

— Я не понимаю, Барух.

— Это из книги Евгении Гинзбург. «Это что еще за рыжий Мотеле?» — спросила она у мужа на одном загородном выезде. Аналогия не идеальна. Гинзбург была еврейка и коммунистка, а ее рыжий Мотеле — еврей и чекист, но все равно эта строчка засела у меня в голове.

— Возможно, я тупая, Барух, или перенервничала, или просто устала, только я сейчас не в настроении разгадывать загадки.

— Танкилевич — это тот человек, который на меня донес. У которого я жил в Москве и который оказался осведомителем КГБ. Он опубликовал в «Известиях» открытое письмо, в котором обвинил меня в том, что я работаю на ЦРУ.

— Так, хорошо. И почему вдруг ты о нем вспом-

нил?

— Я его видел.

— Когда ты мог его видеть? Мы весь день были вместе.

— Во дворе, когда звонил Дафне. Он был в доме, стоял у окна. Продолжать?

Продолжать не было нужды. Лиора вскочила с кровати и уставилась на него.

— Ты его видел, а он тебя нет?

— Он нет.

— Прекрасно, — сказала Лиора.

Кинулась к комоду, выдвинула ящик. Выхватила охапку одежды и кинула в изножье кровати. Она хотела, чтобы он действовал, сопротивлялся тому, что, она чувствовала, уже в нем угнездилось, но это не помогло. Он продолжал безмятежно, как ни в чем не бывало сидеть на кровати. Лиора смотрела на него, и запал ее постепенно ослабевал. Он наблюдал за тем, как она успокаивается, затихает. Расслабляются лицо, плечи, позвоночник, все тело. Против его неподвижной невозмутимости приема не было. Оба они об этом знали. А откуда в нем вдруг берется невозмутимость, Котлер говорить немного стеснялся. Это была не та невозмутимость, с которой он противостоял Амнону, премьер-министру и

многочисленным врагам из своего прошлого. Та невозмутимость шла от разума и принципов, ее легко было объяснить и оправдать, по крайней мере перед собой. Эта же была иной природы. Мистической, скажем так. Именно этим люди иррационального склада отговариваются, когда их обвиняют в неуступчивости.

— Зря мы вообще сюда приехали, — сказала Лиора. — Зря связались с этой женщиной. Я ведь говорила.

— Всё так, тем не менее мы здесь. И наверное, хотя от меня такое непривычно слышать, сдается мне, что все это неспроста.

— Да? А для чего все это?

— Вот это мне бы и хотелось выяснить.

— Все равно не понимаю. Что тут выяснять? Ты случайно встретил человека, который предал тебя сорок лет назад. Вероятность того, что мы случайно поселились в его доме, стремится к нулю. Ну и? Что теперь? Хочешь поквитаться? Так? Дать ему в морду?

— Нет, с этими фантазиями я давно распрощался.

— Тогда что? Хочешь ему что-то доказать? Продемонстрировать свои достижения?

— Нет. Сейчас для этого момент совсем не под-

ходящий.

— Почему? Ты на первых полосах газет. Да, в эпицентре скандала, но это же временно. А главное — судьба нашей страны, ведь она много значит для множества людей. И ты тот, кто ее вершит. Ну и кто такой Танкилевич на фоне всего этого?

— А еще у меня красивая любимая девушка. Не забудь об этом упомянуть.

— А он женат на злобной карге и проныре. И живет в жалкой развалюхе. Еле сводит концы с концами. И у него наверняка какое-нибудь хроническое заболевание — печени, простаты. А еще… В общем, справедливость, можно сказать, восторжествовала. Чего же больше?

— Любопытство, Лиора. Это единственное объяснение. Любопытство. Любопытство у меня в крови. И никогда в жизни оно не мучило меня сильнее.

— И причина только в этом?

— Я хочу выяснить правду, Лиора. Прежде всего. Эта потребность сродни голоду. Главное — ее удовлетворить, а что, почему — до этих подробностей дело доходит лишь потом, когда ты насытился.

— И чтобы удовлетворить эту потребность, ты

готов рискнуть и открыть, кто ты, этим людям? А заодно и кто мы, ведь мы вместе сюда приехали. Такого случая у нас не было и, может, больше не будет. Вот схлестнешься ты с этим человеком и его женой — и ты же понимаешь, что тогда начнется? Разве мы сможем жить так, будто ничего не произошло? Сможем сходить на пляж, наведаться в Ливадийский дворец и музей Чехова? Если ты свяжешься с этим человеком, неизвестно, что будет, но нас уж точно не оставят в покое, и мы не сможем побыть вдвоем, как мы хотели. Но, конечно, если это для тебя неважно, если это мало что значит, то так сразу и скажи!

От своей вспышки Лиора раскраснелась и стала ужасно соблазнительной — пылкость в любом ее проявлении вообще очень сексуальна. Котлер посмотрел на ее грудь, как она бурно вздымается и опускается у него перед глазами, и вдруг ему захотелось наброситься на нее, как зверь, захотелось, чтобы они вцепились и терзали друг друга. Его все так же воспламеняло ее пышное тело, полные, гладкие груди, ягодицы, бедра.

Он жадно хватал ртом ее плоть, по-хозяйски ее тискал. Ее тело звало, приглашало не сдерживать себя, воплотить любые дикие, грязные желания. Меж ними двумя не было места ни

сомнениям, ни пощаде. С Лиорой он мог быть собой — образцом добродетели и одновременно мужчиной с налитыми яйцами. В те сорок лет, в которые уместились тюрьма и борьба за свое доброе имя, слава и бесконечные долги, верность и нерешительность, — он и наполовину не был собой. Он сел в двадцать пять, а на свободу вышел в тридцать восемь. В тюрьму он угодил молодым парнем, только-только женившимся, а к моменту освобождения превратился в ходячие мощи. Каким женихом он мог стать для своей невесты, которая ждала его все эти годы? Какой невестой была та, что все эти годы, ожидая его, тоже вела упорную, непрерывную борьбу? Встретились два человека, привыкшие ни с кем не делить холодную одинокую постель. И этим старым знакомым, почти уже чужим друг другу, предстояло слиться в страстных объятиях или довольствоваться нежной близостью — этого ждал от них мир, этого хотели они сами. Они старались. Упорные, преданные делу люди, они и в сердечных делах проявили упорство. Перепробовали все средства, чтобы раздуть жар прежней страсти. Но любовный огонь не просто поубавился, он почти погас от нехватки топлива, обычного топлива — жизни под одной крышей и повседневного общения. В

разлуке оба делали вид, что жар не угас, что огонь всё пылает, но, воссоединившись, поняли, что это не так. И все равно попытались разжечь его заново. Ведь когда-то он полыхал вовсю. По-настоящему. Но можно раздуть жар заново, только прежнего огня в нем уже не будет. С Лиорой огонь вспыхнул снова, со всепоглощающим пылом.

— А тебе разве не любопытно, Лиора? — спросил Котлер. — Не хочешь посмотреть, как все обернется? Ведь это стечение обстоятельств затрагивает не одного только меня. Мы же с тобой вместе. Если останемся, ты тоже окажешься в это вовлечена. Станешь участником событий. Надеюсь. Мне бы этого хотелось. Потому что если эту затею придумали высшие силы, то тебя они тоже учли. В конце концов, то, что нас с тобой соединило, началось сорок лет назад между мной и этим человеком.

Заложник

Шесть

На рассвете Хаим Танкилевич, ухватившись за поручень, забрался в троллейбус — с гибкими «усами»-антеннами, похожий на старого кузнечика бурого окраса. Вручил водителю плату за проезд, пятнадцать гривен, и, пошатываясь, прошел в конец салона в поисках свободного места. Отыскать его не составило труда. Все места были свободны — и большинство останутся незанятыми почти до самого конца. Он двигался против потока. На другом конце маршрута, в Симферополе, толпы набивались в троллейбус, чтобы ехать к морю, но из Ялты в обратном направлении, движимая какими-то своими сокровенными причинами, курсировала унылая горстка людей. И из них только он ездил каждую субботу, летом и зимой, в дождь и в ясную погоду, из года в год вот уже десять лет. За это время периодически, на несколько недель или месяцев, беда приводила новые лица — то мужчина проходил курс химиотерапии в специализированной клинике, то женщина моталась ухаживать за больной матерью, а потом теткой. Их присутствие в троллейбусе было временным, прискорбно временным, тогда

как его присутствие было прискорбно постоянным. Но об этом он со своими со-страдальцами распространяться не собирался. Он скармливал им аналогичную печальную повесть. Он ездит к брату — тот раньше был успешным бизнесменом, а потом бандиты его искалечили, и теперь он сидит дома, влачит нищее существование. Такая история была доступна для понимания обывателей. Сказать им, что на самом деле он ездит в Симферополь, потому что в шабат в Симферополе не хватает мужчин, которые бы хотели и могли ходить в синагогу, — не стоило, они бы сочли это нелепицей. А погружаться в этнографию или оправдываться не хотелось. Все равно полностью оправдаться было невозможно. Если уж лгать, то лгать от начала и до конца.

Путь до Симферополя занимал три часа, троллейбус — его обгоняли все подряд — катился по равнинам, карабкался по холмам. Особенно медленно тащились старые троллейбусы, реликты хрущевской эпохи. Впрочем, не спешили и более современные модели — отдельного цвета для каждого десятилетия и режима, все как один похожие на грустных кузнечиков. Так они и ездили взад-вперед по этому триумфу советской инженерии — самой длинной троллейбусной линии в

мире. Триумф этот был типичен для Советов: масштаб здесь преобладал над здравым смыслом.

Танкилевич столько раз проделывал этот путь, что, кажется, знал каждый его квадратный метр. Сейчас было лето. Он заранее мог сказать, где вдоль дороги продают мед в банках и связки красного ялтинского лука. Где на склонах раскинулись виноградники и пастбища с коровами и лошадьми, словно лениво застывшими на одном месте. Где расположены бетонные автобусные остановки, рядом с которыми сидят на корточках черноглазые мужчины. Таково было однообразие, тягомотина дней, на которые он был обречен. Особенно это ощущалось на этой земле, на которой все они были обречены жить. Некоторые счастливо умели закрывать глаза на жалкую действительность, держать под спудом свое знание о ней. Но ему в этом было отказано. Отказано умышленно, в знак отмщения. Он принужден был наблюдать непреходящую беспросветность жизни, противостоять ей. Ему исполнилось семьдесят, и каких только болезней у него не было: катаракта, аритмия, ишиас; он ощущал себя пленником — троллейбусов и своих измученных тела и души,

Танкилевич решил, что больше так не выдер-

жит. И сообщил Светлане, что готов хоть сейчас в петлю.

— Ну повесишься ты, и что тогда? Мне тоже в петлю лезть?

— Я больше не могу, — сказал Танкилевич, — я рехнусь.

— Тогда ступай к Нине Семеновне и кланяйся ей в ножки.

Так он и вознамерился поступить. Позвонил Нине Семеновне и попросил его принять. Занятая, немногословная, она, конечно, хотела все решить по телефону, но Танкилевич стоял на своем. Дело слишком щекотливое, слишком важное, это не телефонный разговор. Нужна личная встреча. Скрепя сердце она согласилась — догадалась, вероятно, о чем пойдет речь, и, так и быть, решила с ним встретиться. Сойдя с троллейбуса, Танкилевич пересел на местный автобус — он останавливался в километре от синагоги. Пятнадцать гривен за троллейбус и три за автобус — итого на круг выходило тридцать шесть гривен. За месяц набегало около ста пятидесяти гривен, приблизительно двадцать

долларов США. От «Хеседа»[4] они со Светланой получали сто долларов в месяц. И пятая часть из них уходила только на то, чтобы доставлять его тушу до синагоги и обратно. При мысли об этом Танкилевичу становилось худо.

На часах было самое начало десятого. Службы шли по графику и всегда начинались примерно в это время. Когда Танкилевич только начал ходить в синагогу, у них иногда даже набирался кворум, необходимый по еврейским законам. Но даже и тогда все это была лишь пантомима. В присутствии десяти мужчин разрешалось читать вслух из Торы, но они никогда этого не делали. Тора у них была — свитки, пожертвованные евреями из Эванстона, — только никто не умел их читать. Из благочестия и чувства долга они раскрывали дверцы ковчега и смотрели на свитки. Раз в год, на праздник Симхат Тора, они вынимали свитки из ковчега. Открывали бутылку водки, клали свитки на плечи и танцевали с ними под аккомпанемент всех известных им ивритских и идишских песен. Только Танкилевич даже уже и не помнил, когда в последний раз набиралось

[4] Примечания: 4

Еврейская благотворительная организация. Осуществляет различные виды помощи наиболее незащищенным: инвалидам, одиноким, малоимущим и т. д.

десять мужчин. Привычка открывать ковчег у них теперь стала традицией. Они знать не знали, что при отсутствии нужного количества участников на свитки строго воспрещалось смотреть, тем более брать их в руки. Но, вынужденные действовать в трудных условиях, они полагали, что Всемогущий будет к ним милостив и снисходителен.

Этот километр пути всегда его удручал. Летом, даже в девять утра, жарило солнце. Когда Танкилевич наконец добирался до синагоги, его носовой платок успевал насквозь промокнуть. Зимой, если шел снег, дорожка становилась скользкой и опасной. Весной и осенью лили холодные, промозглые дожди. В любое время года, даже в самую хорошую погоду, на этом пути ничто не радовало глаз. Пригород, где находилась синагога, был одним из худших в Симферополе. Даже по сильно снизившимся современным меркам, дороги и тротуары были в ужасающем состоянии. Дома тоже — жмущиеся друг к другу, неосвещенные, обшарпанные и разрушающиеся. Густо росли деревья и сорняки. Повсюду валялся мусор. В нем копались скелетообразные старухи и собаки. После полудня появлялись местные — пьяницы и матерщинники. В такое

место евреи по большей части наведываться не спешили. Да и тех, кто сюда ходил, становилось все меньше. Причиной тому была естественная убыль. Когда кто-нибудь уходил — в последнее время преимущественно в вечность, — то никто его не замещал. Сначала их было семеро мужчин. Потом шестеро. А теперь, после смерти Исидора Фельдмана, осталось пять. Плюс еще две женщины — Маня Гринблатт и Шура Фейн.

Танкилевич прошел мимо припаркованного фургона и сломанного стула и наконец добрался до синагоги. Стены ее облупились, краска на деревянных оконных рамах вздулась и пошла пузырями. Чтобы войти внутрь, нужно было обогнуть здание и пройти через широкие, для машин, железные ворота. По утрам в субботу их не запирали. За воротами начиналась узкая дорожка, отделявшая синагогу от соседнего дома — заурядного, неотличимого от других домов на улице. Синагога затерялась среди них, затаилась, как в худшие времена. Непосвященным было и невдомек, что это не просто дом. Выдавали его лишь люди явно еврейской наружности, плетущиеся туда в субботу поутру.

Как и ворота, боковую дверь не запирали. За ней начинался прохладный полутемный кори-

дор, где он наконец мог перевести дух. Здание тоже было бы в плачевном состоянии, но благодаря толстым стенам, выстроенным на совесть около века назад, успешно противостояло перепадам температур. Несколько ступеней — и становились слышны голоса в молельном зале. Только это была не молитва, а привычные, прекрасно Танкилевичу знакомые споры и пересуды. Танкилевич открыл дверь и увидел собравшихся. И подумал: «Вот они, мои товарищи последних десяти лет. Даст Бог, я их больше не увижу — ну если только самому захочется».

Он прошел на свое привычное место, за одним из двух столов красного дерева. Возле каждого стояло по три стула. Обычно другие два места за столом занимали Исидор Фельдман и Хилка Березов, брат Нины Семеновны. Но Исидор в прошлый вторник умер от инсульта, а Хилка, в свои пятьдесят четыре самый молодой и обеспеченный из них, запер свой магазин электроники возле железнодорожной станции и с женой и детьми махнул на неделю в Керчь. И Танкилевич оказался за столом в одиночестве. Моше Подольский, старый Наум Зискин и сын Наума Пиня занимали второй стол, ближний к биме, откуда обычно читают Тору. Справа от них, на стульях

у стены, как бы в своем отделении, сидели Маня Гринблатт и Шура Фейн.

Из четырех высоких арочных окон на противоположной стене лился золотой свет. В этом свете — и в свете его грядущего ухода — молельный зал и люди в нем приобрели благородные очертания. Разруха, царившая в остальном здании и его окрестностях, сюда не проникала. Столы и стулья красного дерева были крепкими, сработанными на века. Бима и ковчег позади нее пережили самые темные времена. Их — что удивительно — не сожгли. Бима — возвышение со столом — была из лакированного черного дерева с проблесками позолоты. Таким же был ковчег, позолоченный и резной, с завесой из бордового бархата, отороченной золотой бахромой и расшитой золотом. С потолка свисали две хрустальные люстры. Стены были побелены, комната прибрана. А что же его товарищи, осиянные этим светом? История крепко припечатала их своей тяжкой дланью, но они затаились, ускользнули, выстояли и продолжили жить. С первого взгляда на их лица — выразительные еврейские лица — было ясно, что эти люди в жизни хлебнули немало. «Никто не сможет упрекнуть меня в том, что я не сроднился с этими людьми и с этим местом, — подумал

Танкилевич. — Что я их бросил». Бросил ради чего? Ему самому первому будет очень сильно их не хватать.

Не успел Танкилевич занять свое место, как Моше Подольский поднял палец.

— Потому-то я и уехал из этой страны! — заявил он.

Танкилевич сразу догадался, о чем речь. Об Израиле. Кровь быстрее потекла в венах.

Подольский, в защитного цвета армейской кепке, уже успел для пущей убедительности вскочить на ноги, чтобы Зискиным и женщинам, сидящим у стены, было его лучше видно и слышно. Чуть повернув голову, Подольский включил в число своих слушателей и Танкилевича.

— Что делают арабы? Швыряют камни. Нападают на мирных женщин и детей. Пускают ракеты. Куда идут их жалкие шекели, если уж они решают заплатить налоги? В карман палестинских чиновников, которые — если это вообще возможно — еще продажнее, чем наши, украинские. Евреи же платят государству. В Израиле все платят налоги, да еще из Америки поступают большие миллионы. А как государство этими деньгами распоряжается? Отправляет еврейских солдат выселять евреев из их домов.

— Вот именно, — сказал Наум Зискин. — Это только в Израиле еврею построить дом — преступление.

Даже больше, чем по службам, он будет скучать по этим беседам. С кем еще такое обсудишь? В Ялте, где кругом одни гои, поговорить на подобные темы он мог разве что с собой. Даже у Светланы все эти еврейские разговоры вызывали бурное неприятие.

Подольский, урожденный Михаил, но переименовавшийся в Моше, в конце девяностых уехал в Израиль, а через три года вернулся в Симферополь. Почему он это сделал, для Танкилевича так и осталось загадкой. Подольский объяснял свое возвращение тем, что разочаровался в государстве — оно, мол, то и знай потакает американцам и арабам за счет евреев. Достаточная ли это причина, чтобы из такой страны, как Израиль, вернуться в такую страну, как Украина? Но Танкилевич, памятуя об огрехах собственной биографии, с расспросами не лез. В этой стране каждый человек теперь имел право и таиться, и подтасовывать факты. Утверждает Подольский, что уехал из Израиля по причине идеологических с ним разногласий, — значит, так оно и есть. А что для такого ярого сиониста немного странно

было отказаться от жизни в Иудее и Самарии, променять Иерусалим и Хайфу на Симферополь — что ж, будем считать это его личным заскоком. Подольский вернулся, когда ему было уже хорошо за сорок. С женой и сыном. С экономикой в Крыму тогда, в девяностых, дело обстояло еще хуже. Можно ли было отважиться на столь рискованный переезд лишь из-за недовольства израильской политикой? С тех пор сын его, по собственному почину, снова уехал в Израиль. Но Подольский остался. И не потому, что преуспел здесь. Он работал техником по теплоснабжению, жена — оператором в банке. Что их держало? Точно не любовь к Крыму, Украине, русским или татарам. Жизнь Подольского вращалась вокруг иудаизма и Израиля. Он приглядывал за синагогой, отпирал двери утром по субботам. Носил армейское кепи защитного цвета в знак солидарности с еврейскими поселенцами. Пристально следил за развитием событий в Израиле, читал в интернете газеты на иврите. Не один Танкилевич задавался вопросом, что именно произошло у Подольского в Израиле. И что мешало ему вернуться туда, куда безусловно стремилась его душа?

Да, Израиль, и вопрос, почему они не там, относился к ним всем. Почему они не уезжают? Науму

Зискину восемьдесят пять. Поздновато ехать, поздновато начинать новую жизнь. Пиня, его сын, так и не женился и по причине умственной неполноценности продолжал жить с родителями. Что с ним будет, когда Наум умрет? Сейчас они держались на плаву в основном благодаря репарациям, которые Наум получал от немцев. Не станет Наума — не станет и денег. У Мани Гринблатт муж был украинец и не горел желанием жить в Израиле. Шура Фейн, вдова, была такой же старой, как Наум Зискин, и вдобавок немощной. Дочь ее вышла за русского и уехала в Сибирь. Хилка Березов из года в год размышлял, ехать ему или не ехать, и настроения его колебались в зависимости от того, насколько успешно шел его электронный бизнес. А Исидор Фельдман, человек с чувством юмора, заявлял, что давно бы уехал, но купил на еврейском кладбище участок рядом с женой и не хочет, чтобы его место занял посторонний. В случае Исидора вопрос отпал сам собой.

— Израильское правительство — самый что ни на есть юденрат![5] — провозгласил Подоль-

---

[5] Примечания: 5

В годы Второй мировой войны административный орган еврейского самоуправления. Германские оккупационные власти учреждали их в каждом гетто, чтобы обеспечить выполнение приказов нацистов.

ский. — Теперь это всем стало очевидно. Едва американцы и арабы издали приказ, как их еврейские подпевалы сразу взяли под козырек. Обманывают себя гнусными отговорками в духе юденратов. «Мы делаем это, чтобы задобрить своих хозяев. Пожертвуем вот этими — их немного — не тронут остальных». Что, мало про это написано книг? Или в истории раньше такого не бывало? Зачем тогда нужен «Яд ва-Шем»? Он что, для того, чтобы Римскому Папе-поляку и папе-нацисту было приятно туда приехать и произнести речь? А если арабы возьмут верх? И юденрат сдаст им Иерусалим? Что тогда будет с «Яд ва-Шемом»?

— Станет Музеем сионистской оккупации, — из чувства солидарности сказал Танкилевич.

— Как бы не мечетью, — заметил Наум Зискин.

Вот что значит иметь твердую духовную основу. Наслаждаться прерогативой каждого человеческого существа — обществом единомышленников. В среде которых все воспринимается подсознательно как-то иначе, и это у них в крови. Это и вправду похоже на то, как все нервы ведут к единому мозгу, вены — к единому сердцу. И даже если ты с чем-то споришь, ты споришь с самим собой. Единожды став своим, ты навсегда — свой.

И ничто и никто, никакая сила в мире, не сможет это отменить.

И они еще пятнадцать минут ругали очередной израильский кризис — это давно стало для них частью службы. Да и о чем всегда были их молитвы? О чем вообще молятся евреи? О чем они молились испокон веков? Об одном — о Сионе. Вернуться в Сион. Собрать в Сионе народ из рассеяния. Увидеть наступление века Мессии и восстановление Храма в Сионе. И когда миллионы жили под властью царя, они жили ради Сиона. И оставшаяся здесь жалкая горстка евреев тоже жила только ради Сиона. И даже те, кто осел в Лондоне, Нью-Йорке и Днепропетровске, — все жили ради Сиона. А вот в самом Сионе жили не так.

Семь

После службы Танкилевич против обыкновения не задержался, а поспешил уйти, отговорившись, что ему нужно повидать дочь. По субботам после службы он часто заглядывал к дочери и ее мужу — они снимали квартиру в другой, несколько менее запущенной части города. Светлана всегда передавала для них гостинец — хоть банку солений или несколько яиц от своих курочек. Танкилевич старался время от времени подкинуть им полсотни гривен. Взамен дочь помогала ему: раз в месяц ходила в «Хесед» за его пособием. Но сегодня ему предстояла встреча с Ниной Семеновной, встреча его страшила, и он решил больше ничего не планировать. Рассудил так: если встреча пройдет хорошо, то он вполне успеет позвонить дочери и увидеться с ней. А если плохо, то не в таком он будет состоянии, чтобы кого-либо видеть. Мысль о том, каково ему будет, если встреча пройдет плохо, заставила его содрогнуться.

Встречу Нина Семеновна назначила в «Хеседе», в своем кабинете. Вообще-то по субботам ее обычно не было, в шабат «Хесед» не работал, но она

сделала ему одолжение. Танкилевич знал, что доставил ей неудобства и это вряд ли расположит ее к нему, но что ему оставалось? Десять лет назад, когда он впервые к ней обратился, он настоял на том, чтобы встретиться по окончании присутственных часов — дабы никто их не подслушал. Он думал и на этот раз поступить так же, но потом решил, что разговор в конце долгого рабочего дня ничем не лучше, чем в середине тихой субботы. К тому же тогда бы пришлось дополнительно ехать в Симферополь, еще шесть часов трястись в троллейбусе на жестком пластмассовом сиденье — гнетущая, пугающая перспектива.

От синагоги до «Хеседа» было минут сорок пять. Сначала пешком до автобусной остановки, потом две маршрутки, потом еще десять минут ходу до жилого дома — в нем на первом этаже располагались офисы «Хеседа». Богатый еврей из Америки, чьи предки были родом из Симферополя, выкупил это здание и предоставил помещение «Хеседу». Повезло. У других диаспор — татар, украинцев — в помине такого не было, хотя в странах Персидского залива имелось немало богатых арабов, а в Канаде — богатых украинцев. Но расположение здания оставляло желать лучшего. Кроме той синагоги, куда ходил Танки-

левич, в городе было еще две, реформистская и хабадская, — обе соперничали между собой и обе тоже находились далеко от «Хеседа». Все знали о великой цели Нины Семеновны — вернуть старое здание талмуд торы, школы для еврейских мальчиков одна тысяча девятьсот тринадцатого года постройки. Большое, в прекрасном месте, для «Хеседа» оно подходило идеально. С таким зданием они могли бы по-настоящему развернуться. Но уже много лет его занимал Институт физкультуры. В девяностых годах кое-какие дома местным диаспорам вернули, но надежды на то, что власти расстанутся с этим зданием, было мало. И государство, и евреи — все бедствуют. Ну а раз бедствуют и те и другие, ни о каких моральных и исторических притязаниях и речи быть не может. Да, гестапо заняло здание под свой штаб. Да, сгоняло сюда евреев, перед тем как отправить на ужасную смерть. Но студенты Института физкультуры ни в чем таком повинны не были. За что же их выселять?

Преступления нужно исправлять! Вот почему. Но этого никогда не случится.

Улучшения ситуации не намечалось. Только что они читали кадиш по Исидору Фельдману. Дело само по себе печальное, но с уходом Фельд-

мана их стало меньше — и от этого становилось еще печальнее. Все шло к неизбежному концу. Во время молитвы Танкилевича не покидала диковатая мысль, что для кадиша по Фельдману очень не хватает голоса Фельдмана.

Танкилевич позвонил в дверь «Хеседа» и стал ждать, когда ему откроют. Позвонил снова и вдруг услышал — к двери приближаются чьи-то шаги. Щелкнула задвижка, и на пороге возникла Нина Семеновна. Красивая осанистая еврейка за пятьдесят, португальского типа, с оливковой кожей, крупными чертами лица, нисколько никому не доверявшая и привыкшая жить в мире лжи и стяжательства, где под подозрением находятся все. Включая Танкилевича.

Она не поздоровалась, сказала только:

— Проходите.

Он проследовал за ней через пустой вестибюль, где обычно сидел охранник. Потом по узкому коридору, темному, потому что она не сочла нужным включить свет. На стенах были стенды. На них всегда что-то висело. Помнится, раньше один из них был посвящен нобелевским лауреатам-евреям — Эйнштейну, Бору, Пастернаку и так далее; их портреты сопровождались краткими биографиями. Теперь здесь разместились мест-

ные евреи — герои войны — солдаты, моряки, партизаны. Десятки пришпиленных к стенам фотографий; герои войны на них были запечатлены кто в юности, кто в более зрелые годы. Они миновали лекционный зал, библиотеку, игровую комнату. Дойдя до конца коридора, Нина Семеновна указала на дерматиновый стул, стоявший перед дверью в административную часть.

— Подождите здесь, пожалуйста, — хмуро сказала она. — У меня другой посетитель.

Танкилевич повиновался. Он сидел в темном коридоре и невольно прислушивался к отголоскам конфликта, разворачивающегося за закрытой дверью, — твердому, ровному тону Нины Семеновны и визгливому голосу какой-то женщины. Слов Нины Семеновны было почти не разобрать, зато отчетливо доносились пронзительные вопли другой женщины: «По какому праву?.. Да как вы смеете?.. Кто вам такое сказал?.. Мне причитается!»

После такой закуски, подумалось Танкилевичу, что же будет на горячее?

Последовала долгая пауза, после которой грянул финальный взрыв и громко скрипнул отодвинутый стул. Дверь распахнулась, и из нее в сердцах выскочила женщина. Приблизи-

тельно ровесница Нины Семеновны, полная, большегрудая. Она пронеслась мимо, почти его не заметив, — лишь сверкнули золотые серьги в ушах да взметнулся подол длинной юбки. Женщина с такой яростью впечатывала каблуки в линолеум, что под Танкилевичем подрагивал стул. Эхо ее шагов походило на канонаду. Нина Семеновна, расположившись в дверном проеме, невозмутимо провожала ее взглядом.

— И будьте любезны закрыть за собой дверь, — сказала она ей в спину.

Спокойно дождавшись, когда дверь с грохотом захлопнется, она переключила внимание на Танкилевича.

— Итак, — сказала она, — чем могу служить?

Танкилевич прошел за ней в кабинет и сел на указанное место. Нина Семеновна уселась напротив.

— Хоть бы раз, хоть один бы разочек кто-нибудь пришел, чтобы поблагодарить, — сказала Нина Семеновна, усевшись напротив Танкилевича. — А? Преисполнился бы благодарности за все, что мы тут делаем, и просто пришел бы ее выразить. Вот было бы чудо!

Танкилевич не нашелся с ответом. Впрочем, вопрос был явно риторический.

Нина Семеновна с недоумением смотрела на него.

— Хотя, конечно, спасибо — это не про нашу сферу деятельности.

И снова Танкилевич не нашелся что сказать, ограничился кивком.

— Вы знаете, кто эта женщина? — спросила Нина Семеновна.

— Нет, — сказал Танкилевич.

Он совершенно точно никогда раньше ее не видел.

— У них с мужем два магазина. И частный дом на несколько квартир. Все об этом знают. Но когда я завернула ее заявление на матпомощь, она пришла скандалить. Что я ей ответила? Я, разумеется, ответила, что не надо держать меня за дуру. Она стала уверять, что она нуждающаяся. Что у нее ничего нет. Что магазины и дом не ее. Всем владеет дочь. Все документы на имя дочери. Махала этими документами у меня перед лицом, чтобы я не сомневалась. Вопила, на каком основании и по какому праву я отклонила ее заявление? На каком таком основании и по какому такому праву? На основании здравого смысла и просто из соображений приличия. А дальше вы сами видели.

Нина Семеновна пошарила по столу, взяла пачку сигарет. Ловко выудила из нее сигарету и затянулась. Потом отвела руку в сторону, и завитки дыма заструились у нее перед глазами.

— Теперь с этой особы станется накатать жалобу в одесский «Хесед». И, уверяю вас, она этой возможности не упустит. Самое обидное, что на таких гадин нет управы. Она будет ходить и скандалить, а мне и другим людям, у которых есть дела поважнее, придется это терпеть. И ведь в итоге она добьется, чего хочет. Да, все знают, что это вранье, но по бумагам ее толстая задница прикрыта. Вот из-за такого евреев и ненавидят. Из-за мелочного хитрованства и крохоборства. И ведь такое и впрямь встречается. Мне по работе приходится с этим сталкиваться. Но на одну выжигу, как она, приходится двадцать тех, у кого и правда ни гроша за душой. А эта женщина, требуя денег, на которые не имеет никакого права, обманывает и обкрадывает, и не меня — их. Да, остановить ее я не смогу, но хотя бы отведу душу — испорчу ей жизнь. Я не настолько наивна, чтобы надеяться, будто это заставит ее передумать или раскаяться, ждать, что такие люди переродятся, не приходится — зато все будут знать: если придешь в этот кабинет с намерением надуть,

то легко не отделаешься, обязательно получишь по шапке!

Нина Семеновна поднесла сигарету ко рту и затянулась. «Если своим монологом она преследовала цель меня запугать, — подумал Танкилевич, — то у нее получилось». Но выбора у него все равно не было. Свои шансы он оценивал трезво. Нина Семеновна сейчас лишь подтвердила то, о чем он и так подозревал. Ну и что ж? Его дело было спросить. Ее, значит, отказать. Он, в отличие от этой женщины, никого не обманывал. Ничего не скрывал. Между ним и Ниной Семеновной все было в открытую. Но при этом тщательно скрывалось от посторонних. Эта ее тирада, горячность, с которой она рассказывала ему о наглой просьбе посетительницы, вызывали беспокойство. Он собирается дать задний ход, нарушить свое слово, а что, если она свое уже давно нарушила? С другой стороны, за все эти годы у него ни разу не возникло повода заподозрить ее в нечестности. А это бы сразу выяснилось, ведь всплыла бы правда о его прошлом. А подобные факты, узнав, простить трудно. Тем более евреям. Тем более таким евреям, как ее брат и другие люди из синагоги. А значит, есть надежда, что Нина Семеновна, по крайней мере в его случае,

вела себя осмотрительно.

Пока Танкилевич собирался с духом, Нина Семеновна сделала еще одну затяжку и сказала:

— Но вы пришли не для того, чтобы выслушивать мои жалобы.

— Сочувствую вашим проблемам, — сказал Танкилевич, — и совершенно не хочется нагружать вас новыми. Но я пришел поговорить насчет синагоги.

— А, синагога, — сухо произнесла Нина Семеновна.

— Возможно, вы слышали, Исидор Фельдман умер.

— Хороший был человек, — сказала Нина Семеновна. — Чуть ли не последний из тех, чьи родители были еще из земледельческих колоний. Я хотела пойти на похороны, но закрутилась.

— Да, он был хороший человек, — сказал Танкилевич. — Для общества и для синагоги это большая утрата. Он регулярно посещал службы. Без него у нас остается всего пятеро мужчин.

— Это вечная боль. Наши люди уходят, и некем их заменить. Но вряд ли у вас есть идея, как с этим быть?

— К сожалению — к моему искреннему сожалению, — такой идеи у меня нет, — сказал

Танкилевич, и от отчаяния его бросило в жар.

Ему казалось, что Нина Семеновна даже со своего места этот жар ощущает.

— Что ж, тогда вы пришли по адресу. С сожалениями — это сюда. К нам все приходят с сожалениями и жалобами. Которые на поверку оказываются не жалобами, а просьбами. Или я ошибаюсь?

Танкилевич пристыженно промолчал.

— Ну же, выкладывайте, — сказала Нина Семеновна. — Чего вы хотите?

— Дело не в том, чего я хочу, — сказал Танкилевич. — К сожалению, то, чего я хочу, и что я могу, — две разные вещи.

Нина Семеновна сжала руки на столе в замок и в упор уставилась на Танкилевича.

— Сегодня суббота, господин Танкилевич. На меня только что наорала одна хабалка. Я не настроена играть в игры и разгадывать загадки.

— Впервые я пришел сюда десять лет назад. Не знаю, помните ли вы.

— Прекрасно помню. Даже при моей длинной и разнообразной практике такой случай, как ваш, забыть трудно.

— Значит, вы помните, о чем мы договорились?

— Дословно.

— Я все десять лет соблюдал наши договоренности. Не пропустил ни одной субботы.

— Прекрасно. И теперь ждете от меня поздравлений?

— Нина Семеновна, думаю, вы согласитесь, что десять лет — долгий срок. Тогда мне было шестьдесят, теперь стало семьдесят.

— Не пора уже перейти к сути дела?

— Когда десять лет назад мы с вами заключили соглашение, в синагоге было достаточно мужчин для миньяна. Но их давно уже не хватает. Есть я или нет, это не влияет ни на что.

На кончике сигареты нарос столбик пепла. Нина Семеновна, все так же пристально глядя на Танкилевича, стряхнула его в керамическую пепельницу — кривую, сделанную детишками в рамках какого-то проекта, с намалеванной в центре фиолетовой звездой Давида. И неумолимо и неспешно снова поднесла сигарету к губам. Выпустила струю дыма и вновь хищным взглядом вонзилась в Танкилевича.

— Думаете, Нина Семеновна, мне легко это далось? Я долгое время терпеливо нес бремя, которое наложила на меня наша договоренность. Терпеливо нес и считал это своим долгом и своим

жребием. Но теперь я постарел. Здоровье уже не то. Плохо вижу. Сердце барахлит. Ишиас, и часами сидеть в троллейбусе для меня настоящее мучение. Эти поездки из Ялты меня изматывают, Нина Семеновна. И физически, и психологически. А при этом, необходимости мне так страдать, кажется, уже нет.

Нина Семеновна затушила сигарету о пепельницу.

— Итак, мы наконец добрались до сути дела? Вы хотели бы сложить с себя обязательства? По причине связанных с ними непомерных тягот?

— Да.

— А что насчет моей части соглашения? Я тоже буду свободна от своего слова?

Танкилевич с опаской глянул на нее.

— Вы говорите о бремени, которые на вас наложила наша договоренность, но почему бы вам не поинтересоваться, каково пришлось мне? Легко, думаете, мне было все эти годы кривить душой? Да еще ради такого, как вы?

Нина Семеновна подалась вперед, в глазах ее вспыхнули злые огоньки. Но было в них и кое-что еще. Что-то похожее на радость. Он ошибся. Закуска не перебила ей аппетит перед горячим блюдом. Наоборот, она лишь вошла во вкус. От за-

куски у нее разгорелся волчий аппетит, ей только и хотелось кого-нибудь сожрать. Наверное, даже не случись этой скандалистки, Нина Семеновна все равно бы ему отказала. Но после нее участь его была решена. Не повезло.

— Вы спрашиваете, помню ли, как вы впервые пришли в мой кабинет? Я сказала «да» не только потому, что вы сейчас об этом спросили. Я сказала «да», потому что вообще никогда об этом не забывала. Видите ли, Танкилевич, я часто о вас думаю. Думаю о том, правильно ли я поступила, заключив с вами соглашение. Вы ведь с самого начала не вызывали у меня симпатии. Ни симпатии, ни доверия. Я решила, что вы скользкий тип. Я и сейчас так считаю. За вашу работу на КГБ, за ваше поведение в последующие десятки лет, за обстоятельства, которые привели вас в мой кабинет, вы, на мой взгляд, не заслуживаете ничего, кроме презрения. Ни моей снисходительности, ни моей защиты, ни копейки денег от «Хеседа».

— Понимаю, Нина Семеновна, — сказал Танкилевич. — А десять лет моего ревностного посещения синагоги не переменили вашего мнения?

— С чего бы? В синагогу вы ходили только ради пособия от «Хеседа». Чем тут восхищаться, гос-

подин Танкилевич? Вы всего-навсего батлан[6]. Жаль, что пришлось помогать синагоге подобным образом, но такова наша реальность. Хилка пожаловался, что не хватает мужчин для миньяна, а тут кстати подвернулись вы. Вот я вам и предложила. Не так из соображений здравого смысла, как из жалости. А это всегда ошибка. И вы это в очередной раз доказали.

— Простите, но чем именно доказал? Тем, что десять лет, пока здоровье позволяло, таскался из Ялты в Симферополь? Думаете, я все это делал ради какого-то обмана? Обманом, Нина Семеновна, была вся моя жизнь, пока я не пришел к вам.

Нина Семеновна откинулась назад и хрипло, презрительно расхохоталась. Хохотала она картинно и долго; наконец отсмеявшись, она с мрачной усмешкой уставилась на него.

— Какая речь, господин Танкилевич! Уж простите, но обойдемся без аплодисментов. Но раз вы ставите вопрос так, позвольте сказать: вы в любой момент могли положить конец своему так называемому обману, просто выйдя за эту дверь и объявив во всеуслышание: «Меня зовут Владимир Танкилевич. Я достиг пенсионного

---

[6] Примечания: 6

Человек, который работает на благо общины, отказываясь от другой работы (*иврит*).

возраста. Я еврей, и предки мои были евреями. Я родился тогда-то и там-то. Вот документы, которые это подтверждают». Любой другой поступил бы именно так. Но не вы. Вы явились сюда под покровом тайны и попросили помочь скрыть ваше настоящее имя. Я согласилась — и тоже стала частью этого обмана. Ради вас я скомпрометировала себя. Я могла бы сказать *ради синагоги*, но, если грянет скандал, в эти тонкости никто вдаваться не станет. Вы берете в расчет только себя и свое положение, но позвольте просветить вас относительно того, как обстоят дела у меня. По той сцене, что вы наблюдали несколько минут назад, нетрудно было понять, что врагов у меня хватает. Представляете, что сделает эта чудесная женщина, если узнает, что я целых десять лет тайно помогаю такому человеку, как вы? Всем известному предателю еврейского народа? Думаете, она промолчит? Не кинется строчить кляузы на меня в Одессу, Москву, Нью-Йорк? Ей, значит, в ее скромной просьбе я отказала, зато даю деньги Владимиру Танкилевичу, осведомителю КГБ, по чьей милости великий Барух Котлер оказался в ГУЛАГе. Как к этому, по-вашему, отнесется мое руководство? А руководство моего руководства? Американские евреи из Нью-Йорка, которые в

поте лица добывают нам средства существования? А как они это делают, знаете? Взывают к своим преуспевающим собратьям, которые пока еще хранят память о своих местечковых корнях. Повествуют им о нашем горестном житье-бытье. Печатают брошюры с фотографиями и душещипательными рассказами о бедных, неприкаянных русских евреях. Организуют шикарные мероприятия для миллионеров, на которых знаменитые евреи, вроде вашего Баруха Котлера, выступают с призывом раскрыть кошельки. А теперь представьте, что будет, если выяснится, что некая Нина Семеновна Шрайбман, глава симферопольского «Хеседа», в здравом уме и твердой памяти оказывает помощь и поддержку предателю Танкилевичу, этому позору еврейского народа? Что вот уже десять лет она дает деньги — и не только ему, но и его жене-шиксе? Что она еще к тому же подделала документы? Нарисовали себе эту картину, Танкилевич? А представьте, что произойдет, если эта информация получит огласку? Дело не только в том, что случится со мной. Тут все вполне очевидно. Но какой ущерб понесут те большие структуры, на которые мы все уповаем? Представьте, как эта стыдобища будет выглядеть на полосах газет? Вы понятия не имеете, насколь-

ко придирчивы эти американские еврейские организации. И насколько нетерпимы. Мне приходилось видеть, как они бились в конвульсиях из-за гораздо более безобидных вещей. Организаций много, и все дерутся за одни и те же доллары. Стоит кому споткнуться — другие, уж вы мне поверьте, мигом этим воспользуются. Глазом не успеем моргнуть, как деньги, которые с таким трудом собирались для евреев Украины, будут перенаправлены на что-то менее сомнительное — например, на обучение эфиопских евреев управляться с вилкой или отправку молодых американских евреев на сбор помидоров в Негеве. А все потому, что ради вас я рискнула собственной головой. Так что пока вы просто катались себе на троллейбусе, господин Танкилевич, надо мной висело все это.

Танкилевич воспринял эту речь как разнос и покорно втянул голову в плечи. Но при этом подумал: «Пускай разнос — лишь бы только без рукоприкладства!» В своей жизни он сталкивался с побоями — настоящими, до крови. Так что ничего нового. Неприятно, конечно, но он от своего не отступится. К нему вернулся дар речи.

— Нина Семеновна, я целиком и полностью с вами согласен. Но факт остается фактом: а что

мне было делать? С фальшивым именем, которое мне выдал КГБ, — Владимир Тарасов — я мог вернуться и жить среди своего народа. Сделавшись Владимиром Тарасовым, я мог ходить в синагогу. А оставаясь Владимиром Танкилевичем — нет.

— Сделавшись Владимиром Тарасовым, вы давным-давно могли вернуться и жить среди своего народа, ходить в синагогу. Ничто вам не мешало. Но вы обозначились лишь тогда, когда стало можно получать деньги. А теперь вам хочется всего и сразу: и остаться Владимиром Тарасовым, и сохранить пособие, и освободиться от обязательств по отношению к обществу и синагоге. Только, господин Танкилевич, слушайте меня внимательно: пока я сижу в этом кресле, этому не бывать. Если вы перестанете выполнять условия нашего соглашения, я лишу вас содержания. Что будет для меня, как вы уже поняли, огромным облегчением. Огромным облегчением, хотя и ни в малейшей степени не искуплением греха.

Выдав эту финальную тираду, Нина Семеновна снова взяла в руки пачку сигарет и чиркнула спичкой — как точку поставила. Танкилевич смотрел на нее через стол. Она сидела с довольным видом, сигарета дымилась у нее в руке. На память пришел совет Светланы. «Что ж, пора», —

подумал он. Настало время перейти к крайним мерам. Скованно, не без труда, он поднялся со стула и отодвинул его в сторону. Ножки заскребли по полу, и звук этот током пробежал по икрам, по спине. Ухватившись за край стола, он принялся сгибать колени и сгибал их до тех пор, пока не почувствовал под ними твердую поверхность. Убедившись, что держит равновесие, он отпустил стол и уронил руки вдоль тела. Поднял глаза на Нину Семеновну, своего инквизитора. Вот он и упал на колени, но этого было мало. Требовалось что-то еще. Требовались слова.

— Умоляю вас, — сказал Танкилевич.

Нина Семеновна взирала на него из своей неприступной крепости.

— Вставайте, Танкилевич. Если вам такое по силам, значит, по силам и посещать синагогу.

Восемь

В центре города, на улице Маяковского, располагался продовольственный рынок «Фуршет», где Танкилевич каждую неделю перед возвращением в Ялту закупался провизией. У «Хеседа» была договоренность с владельцами рынка. Точно такой же «Фуршет» имелся в Ялте, но Нина Семеновна нарочно не внесла его в тамошний список. И тратить пособие Танкилевич был вынужден в Симферополе. Так что по субботам на него заодно возлагались и покупки. Но после встречи с Ниной Семеновной он был раздавлен, почти убит. Он не мог идти на рынок, переставлять налитые тяжестью ноги, изучать контейнеры и полки посреди обступающей его со всех сторон пестрой, бездумной, глумливой выставки излишеств. Руки стали тяжелые, как мешки с песком. Потребовались бы сверхчеловеческие усилия, чтобы их поднять, заставить пальцы взять пакет или коробку. Всеми фибрами своего существа он протестовал против этого. Это уж чересчур, на сегодня с него хватит. Перед глазами всплыло мрачное, недовольное лицо Светланы. Но ей-то с чего возмущаться? Не она была прикована к троллейбусам, не она

унижалась перед Ниной Семеновной. Все тяготы выносил он. Так что пусть Светлана заткнется. Не пойдет он, и все тут, подумал Танкилевич. Не пойдет! Но уже оказался на рынке.

Он продвигался вдоль рядов, машинально складывая в красную пластиковую корзину продукты: хлеб, творог, сметану, хлопья на завтрак, гречку, морковный сок, копченую скумбрию, помидоры, огурцы, картошку, зеленый лук. Немного желтых слив, в сезон недорогих. Напоследок остался мясной прилавок, где продавщица привычно уточнила: «Вам триста граммов жареной индейки?» Танкилевич давно подозревал, что индейку они держат исключительно для евреев. Все остальное на этом прилавке: аппетитные сырокопченые колбасы и сосиски — были со свининой и на пособие «Хеседа» не продавались. За свинину и морепродукты, а также за сигареты и алкоголь нужно было выкладывать свои кровные.

От мясного прилавка Танкилевич с корзиной, немилосердно резавшей пальцы и оттягивавшей плечо, направился к кассам — они располагались у входа на рынок. По случаю субботы в покупателях недостатка не было. Перед ним в кассу стояли три женщины. Не успел он занять место за ними,

как позади образовалась очередь. Танкилевич оглянулся, чтобы посмотреть, насколько она длинная. Прямо за ним стояла молодая женщина с девочкой лет трех-четырех, в ярком хлопковом платьице и белой хлопковой панамке. За ними — старик, примерно ровесник Танкилевича, с ершиком седых волос, русский. Еще дальше стоял мужчина помоложе, смуглый, татарин или азербайджанец, работяга в футболке без рукавов, открывающей мускулистые руки. Финальный этап миссии, оплата покупок, всегда напрягал Танкилевича до предела, заставлял оглядываться, волноваться, что подумают люди, — не осудят ли, не станут ли презрительно усмехаться. В этот момент он лишался туманного статуса просто гражданина и огромными светящимися буквами расписывался в том, что он еврей.

Подошла очередь Танкилевича. Он предъявил свою корзину кассирше, блондинке за тридцать. Как и продавщица из мясного ряда, она знала его в лицо. Быстрыми, отработанными движениями она вынимала товар за товаром и считывала датчиком ценники. На экране высветилась итоговая сумма, и кассирша, подняв голову, спросила: «Купонами?» В такие моменты Танкилевич делался особенно чувствительным к малейшим

переменам в окружающей атмосфере, как пес, учуявший, что в воздухе запахло грозой. Доставая из кармана яркие, разноцветные чеки «Хеседа», он почувствовал за спиной некоторый ропот. Воздух сгустился. Гнетущей тяжестью лег Танкилевичу на плечи. Он обернулся проверить: не зря ли он встревожился. Женщина за ним смотрела в сторону, ее дочурка послушно топталась радом. Они не представляли собой опасности и, кажется, не заметили ничего особенного. «Да и с чего бы? — подумалось Танкилевичу. — Такие грозы обходят их стороной». Но на его жизнь этих гроз выпало столько, что он вряд ли мог ошибиться. И одного взгляда на русского хватило, чтобы понять: не ошибся он и на этот раз. На лице русского кривилась усмешка — желчная, заносчивая, антисемитская. Он посмотрел на Танкилевича в упор, и усмешка сменилась ухмылкой.

— Что-то не так? — спросил Танкилевич.

В ответ мужчина рассиялся — можно подумать, Танкилевич отмочил невесть какую шутку. Принялся вертеть головой, заглядывать окружающим в глаза, словно приглашая их разделить его веселье. Даже если б он так не старался привлечь внимание, вопрос Танкилевича привлек бы его.

Молодая женщина притянула дочь поближе

к себе и с опаской переводила взгляд с Танкилевича на русского. Кассирша заерзала, спрятала лицо. И лишь работяга смотрел невозмутимо, как ящерица.

— «Что-то не так?» — передразнил русский. — Для таких, как ты, все так. Всегда.

— На что вы намекаете, гражданин?

— Намекаю? Я не намекаю. Я говорю то, что и так яснее ясного. Умеете вы устроиться.

— «Вы?» Кто это «вы»? — вскинулся Танкилевич. — Решили возводить поклеп, так хотя бы имейте мужество говорить прямо.

— Чтобы сказать то, что я говорю, мужества не нужно, — ответил русский. — Нужно только разуть глаза. И сразу видно, что для вас, евреев, всегда и везде особое обслуживание. Ведь правда же?

И русский повернулся за поддержкой к окружающим. Но они молчали. Танкилевичу даже показалось, что на лице кассирши промелькнула тень неодобрения. Впрочем, поддержки он и не ждал. Сколько приходилось сталкиваться с подобным антисемитизмом — и никто ни разу не сказал ни единого слова в защиту. Сердце колотилось в груди — казалось, вот-вот разорвется. Он покрепче ухватил чеки и поднял их повыше,

чтобы всем было видно.

— «Особое обслуживание»? — спросил Танкилевич. — Вы об этом?

Русский не сдавался:

— А у кого еще такое есть? Я бы тоже хотел себе такие привилегии. Но они только для евреев.

— Тоже хотели бы такие привилегии? — взревел Танкилевич. — Тогда вам надо в сорок первый, когда немцы вели евреев в лес, на расстрел!

— Ой, да ладно! — сказал русский. — Опять немцы и все такое? Вас послушать, так одни только евреи пострадали. Всем досталось. Кто пролил крови больше, чем русский народ? Только нас никто ничем не жалует, не так, что ли?

И он снова обернулся к окружающим за поддержкой. Сначала к молодой женщине, но та по-прежнему держалась настороженно и замкнуто. Затем к рабочему.

— Скажи, дружище? — спросил русский.

Работяга помолчал, а потом ответил с татарским акцентом — согласные, словно камушки, перекатывались у него во рту.

— Да, пострадали все, — сказал он. — И не только от немцев.

— А, понятно, — протянул русский. — Кругом одни представители притесняемых меньшинств.

Вон как оно повернулось. Мы, русские, поднимали эту землю — скажете, нет? — а теперь мы для всех гады. Должны все время каяться и просить прощения у каждого встречного-поперечного.

Русский вошел в раж и, с вызовом поглядывая вокруг, уже не ждал ни от кого солидарности. Он вызверился на Танкилевича.

— Черта с два я стану просить прощения у таких, как ты! Тебе особо деньги дают, а у меня дыра в кармане. Мало немцы вас положили в сорок первом!

«Приехали», — подумал Танкилевич. Фитиль был подожжен, и заряд сдетонировал. Кровь у него закипела. Он маханул хеседскими банкнотами перед лицом русского.

— Я тебя уничтожу, мразь! — взревел он.

— Ага, как же, попробуй только!

Но между ними уже кинулась молодая женщина с дочкой. Работяга успел перехватить русского и крепко его держал. Кассирша очнулась и заявила:

— Ведите себя культурно, а то полицию позову!

На этом спектакль в общем и в целом завершился.

Танкилевич вышел с рынка сердце так и не

унялось, авоська с продуктами тяжело оттягивала руку, — и уныло побрел на остановку троллейбуса.

Девять

Обычно Танкилевич с дороги звонил Светлане, чтобы она встретила его на машине. Сегодня он звонить не стал. А когда она позвонила, не ответил. И все же, выйдя из троллейбуса и не увидев ее в ту же секунду, он разозлился. Авоська била по бедру, бритвой резала плечо, пока он брел от конечной остановки троллейбуса к дороге, где находилась стоянка машин и такси. Вечерело, но солнце еще не садилось, и все было прекрасно видно. Не успел он сделать несколько шагов, как заметил Светлану — она шла ему наперерез. По ее лицу, ее поведению было ясно, что она уже все поняла.

— Отказала?

— Не хочу об этом говорить, — отрезал Танкилевич.

Светлана потянулась за сумкой, Танкилевич сделал вид, что не отдаст.

— Не геройствуй, ты едва живой, — сказала Светлана и отобрала сумку.

До машины шли молча, Светлана по пути украдкой поглядывала на него.

Была ли за сегодняшний день хоть одна светлая

минута? За целый день человеческой жизни? От рассвета до заката? Хоть один просвет? Да, один был. Неподалеку от продуктового рынка, когда он остановился перевести дух, его нагнали молодая женщина и ее дочурка. Он ничего от них не ждал, отвел глаза. Но женщина сказала: «С моей матерью работала еврейка, врач-окулист. Муж ее был химиком. Честные, уважаемые люди. Теперь они в Израиле. Сколько таких ценных кадров мы потеряли? Интеллигентов. Специалистов. Тысячи! Я их понимаю. Дремучая у нас страна, и люди дремучие. Мне стыдно перед дочерью за нашу страну».

Они молча убрали продукты в багажник, и Танкилевич разместился на пассажирском сиденье. Светлана молча вырулила на дорогу и двинулась в сторону дома. Своим молчанием Танкилевич словно безмолвно приказывал и Светлане сохранять молчание. Но постепенно жене становилось невтерпеж молчать, а заставить ее так долго сдерживаться ему никогда не удавалось. Он резко повернулся к ней и крикнул:

— Что ты хочешь от меня услышать? Она плюнула мне в лицо! Вот и весь сказ.

— Не надо было тебя одного отпускать, — сказала Светлана — это был давний предмет их склок.

— Допустим, ты бы поехала со мной. Тогда бы у нас вдвое больше ушло на проезд, а Нина Семеновна нас и на порог не пустила бы.

— Почему? Потому что я не еврейка?

— Разумеется, потому что ты не еврейка! — рявкнул Танкилевич. — Не говори глупостей. Это *еврейская* организация. Они считают, что даже мне ничего не должны, а тебе и подавно.

Они уперлись в стоявший посреди дороги белый туристический автобус. Судя по красным надписям на корпусе, он был из Польши. Светлана вытянула шею, чтобы увидеть, в чем дело.

Машины сзади принялись сигналить.

— Заглох?

Светлана продолжала смотреть и не отвечала.

— Ну что там? — не отставал Танкилевич.

Автобус тронулся.

— Что там было? — снова спросил Танкилевич.

Они двинулись следом за автобусом, но ничего особенного не обнаружили. Не было ни обломков, ни пострадавших. Только в отдалении — равнодушные деревья и дома да склон холма на востоке. Всё как всегда. Ничего, что могло отвлечь водителя. Вообще ничего.

— Не день, а сплошные разочарования, — вздохнул Танкилевич.

Тут Светлана и сообщила ему новость: у них постояльцы. «Не так чтобы утешить, как чтобы похвастаться», — подумал Танкилевич. Размахивает этой новостью, словно победным знаменем. Еще бы: пока он вел неудачные переговоры в Симферополе, она на неделю обеспечила им жильцов. Жильцов, которые заплатили сполна и вперед. Жильцов, которые к тому же евреи. Последний козырь она выложила с особой значительностью. От Танкилевича ее намек не укрылся. В данный конкретный момент постояльцы, евреи, — это не просто источник недельного дохода от сдачи жилья. Они — второй шанс! Спасение!

Услышав эту полнейшую детсадовскую чушь с хромающей на обе ноги логикой, Танкилевич поморщился от мысли, что он женат на особе, чей мозг погряз в подобных благоглупостях.

— Кто они? — сухо спросил он.

— Мужчина и молоденькая женщина, — ответила Светлана, его тон ее обидел.

— Кто они друг другу?

— А нам что за дело? Они такие не первые и не последние.

— Они сказали, откуда они?

— Из Америки.

— Но они русские?

— Да. По-русски говорят не хуже нас с тобой.

— А в России где жили?

— Я не спрашивала. Скорее всего, в Москве или Петербурге. На провинциалов не похожи. Скорее, на птиц высокого полета. Особенно мужчина. Иначе не видать бы ему такой хорошенькой спутницы. Сам-то он далеко не красавец. Так, человеческий огрызок в широкополой шляпе и темных очках. Еврей-коротышка, чисто как на карикатурах рисуют. Умный, себе на уме. Только все равно ни одна девушка не связалась бы с таким невидным типом — значит, он либо богач, либо важная шишка.

Танкилевичу словно удавку на шею набросили. Опять эта старая ржа, что разъедала его изнутри. Светлана, ничего не заметив, готова была и дальше молоть языком, но он ее оборвал.

— Сколько, ты сказала, этому мужчине?

— Сколько? Я бы дала ему лет шестьдесят. Не меньше.

Перед глазами все померкло. Поразительно, как Светлана не видит очевидного — упивается своей ловкостью, своей деловой хваткой. Показался их дом. Светлана свернула на подъездную дорожку.

Постепенно стала опускаться ночь. В доме было темно. Не горел свет и в окнах еврейских

постояльцев.

Светлана открыла дверцу, чтобы выйти, но Танкилевич не шелохнулся.

— Что с тобой такое? — спросила Светлана.

— У тебя вообще нет ни капли мозгов?

— Мозгов? — вскинулась Светлана. — Это еще почему?

На его объяснения она лишь махнула рукой.

— Это всего-навсего твоя паранойя, — сказала она и отправилась доставать продукты из багажника.

Танкилевич продолжал демонстративно сидеть в машине, пока она несла продукты в дом. Она обернулась, но он с упрямым, мрачным видом не двигался с места. Светлана вошла в дом, и в комнатах поочередно стал загораться свет. Сидя в тишине и покое автомобиля, он прислушивался и ждал какого-нибудь знака, который его успокоит.

Паранойя, сказала Светлана, но это было неверное слово. Допускать, что описанный ею человек — еврей из того поколения, из среды московской или ленинградской интеллигенции, — может знать его в лицо, какая уж тут паранойя. Это не паранойя. Это факт. Факт, который задавал вектор его жизни последние четыре десятка лет. Опре-

делял, где ему жить и с кем общаться. Четыре десятка лет он принимал все предосторожности, чтобы избегать встреч с людьми вроде мужчины, которого Светлана сейчас бездумно пустила в дом. И ведь знала все не хуже него. Собственно, благодаря этому они и встретились: она жила в одной из советских республик, в глухомани, куда со времен коллективизации не ступала нога еврея. Туда-то его и упрятал КГБ, там он и находился, еврейская иголка в советском стоге сена, до тех пор пока все не переменилось и они не сочли, что выбраться оттуда и возможно, и позволительно. Но этот факт они со Светланой все равно продолжали учитывать. Ялта показалась им такой же безопасной, как их украинский хутор, всеми забытый и тихо загибающийся. Встретить в Ялте, откуда все уже эмигрировали, еврея из Москвы или Ленинграда, то есть уже Санкт-Петербурга, было так же невероятно, как в их разваливающемся колхозе. Почему то, что было для них данностью, реальностью, опасностью, что почти сорок лет определяло их жизнь, Светлана вдруг обозвала паранойей? А может, за без малого сорок лет опасность и правда миновала? Со временем опасности становятся фантомными. Но все ли? И сколько времени должно пройти?

И кто может взять на себя ответственность — решить, реальна опасность или нет? Кто может сказать другому, что страхи его напрасны? Что зверь не рыщет у порога? Что это и не зверь вовсе? И кому это знать, как не еврею? И все-таки ему хотелось поверить, что время сделало свое дело, что, подобно воде, оно сгладило острые края. Он уже не боялся так, как раньше, что его опознают, заклеймят, подвергнут расправе. Уж точно не какой-нибудь случайный русский еврей, пусть даже бывший активист, который вдруг узнает его. Нина Семеновна говорила о нападках в прессе, статьях в газетах, публичной экзекуции, но вряд ли все это может произойти из-за случайной встречи. А если не это, то что может произойти? Чего он до сих пор так отчаянно боится? Проклятий? Шельмования? Или просто презрительного взгляда, пробирающего до печенок? Ощутимого свидетельства того, что есть еще в мире люди, перед которыми, как они считают, он не искупил свою вину, потому как вину его вообще нельзя искупить.

Но стоит ли так уж сильно опасаться мужчину — как там о нем сказала Светлана? Коротышка с любовницей? Как относиться к такому человеку? Паранойей реакцию Танкилевича не назовешь,

но он, безусловно, погорячился. И Светлана тоже. Оба хороши. Оба переоценили этого мужчину. Она чересчур обрадовалась — он чересчур напрягся. Светлана слишком понадеялась, что этот человек сможет их спасти, — он слишком испугался, что он сможет причинить им вред.

Войдя в дом, Танкилевич покойно устроился в кресле и стал смотреть унылое вещание Первого канала из Москвы. Шло развлекательное шоу. Ведущий-весельчак держался барственно, так, словно участники — сплошь крестьяне да работяги — недостойны пощупать и край его итальянского костюма. Вот что взошло на обломках коммунизма. Вот чем обернулась борьба за свободу и демократию. Даешь хлеба и зрелищ. Но главное, зрелищ. Одну большую ложь заменили на другую — всё как всегда. Сперва Советы всех обманывали, теперь капиталисты. С точки зрения обычного гражданина, это та же отрава, только другого розлива. У нынешней просто склянка посимпатичнее.

Пока Танкилевич погружался в пучину пошлости, Светлана сидела на диване и читала бесплатную еженедельную газету. Время от времени он слышал шелест страниц или замечал, что она поглядывает на экран. Потом она сло-

жила газету и встала. Пошла было к выходу, но у двери остановилась и выложила то, что у нее накипело:

— Не ты один молишься. Я тоже молюсь. И может статься, сам Господь послал нам этих людей.

Танкилевич даже не стал огрызаться в ответ, просто дождался, когда она уйдет. Развлекательное шоу завершилось, начался вечерний выпуск новостей. Если шоу было кошмарным, то про новостной выпуск нечего и говорить. Накрахмаленная, отутюженная ложь. Торжественное заключение нового договора между Россией и западными корпорациями — будут бурить нефтяную скважину на Северном полюсе. То есть миллиарды долларов потекут в карманы тех же прохвостов. Россия осуждает Америку за вмешательство в дела суверенных государств. То есть защищает право арабских диктаторов косить свой народ из русских автоматов. Столкновения властей и агрессивно настроенных демонстрантов в Москве. То есть преступный режим душит несогласных. Все это происходило в Москве, в России, а Танкилевич был в Ялте, на Украине. Но какая разница? Москва, Киев, Минск — методы повсюду те же.

Танкилевич выключил телевизор и тяжело

поднялся. Он до смерти устал. Устал жить в этой стране. Устал за сегодняшний долгий день, полный унижений, — вся жизнь его была ими полна. Он сделал несколько шагов и вдруг увидел в оконном стекле свое помятое лицо. В былые времена женщины считали его красавцем, внешность была предметом его гордости. Теперь он был, ни дать ни взять, старый слон — большой, серый, согбенный. Он пригладил волосы и откашлялся. И окликнул Светлану, голос его при этом некстати дрогнул:

— Мать, если ты не молишься, завари-ка чаю.

Встреча

Десять

На рассвете Котлер открыл глаза. По его ощущениям, он пролежал без сна, смежив веки, много часов — и все думал, думал. Сначала он слышал, как Лиора ворочалась рядом с ним. Потом она затихла, дыхание ее сделалось ровным и глубоким — она явно заснула. От тоже был не прочь заснуть, но в мозгу неустанно крутились мысли. Человеку его рода деятельности (общественная жизнь, политика) бессонные ночи были не в новинку. Правда, за все месяцы, что он совмещал политическую борьбу с любовной связью, он не мог припомнить, чтобы провел без сна всю ночь. Спал урывками, но чтобы вот так целую ночь перед глазами прокручивалась цветная кинолента… По правде говоря, отчасти спать ему не дали воспоминания о бессонных ночах в прошлом. Тогда в «Известиях» вышла статья Танкилевича. С нее началась его третья жизнь. В первой он был обычный советский гражданин. Во второй — обычный диссидент. В третьей стал избранным среди избранных. Последовала череда бессонных ночей: бессонные ночи в ожидании стука в дверь; бессонные ночи в лефортовской камере,

где он прокручивал в голове каждое слово, каждый жест следователя, стараясь выскользнуть из психологической удавки; бессонные ночи во время процесса, когда он мысленно парировал лживые наветы своих обвинителей; бессонные ночи в одиночке, в таких скотских условиях, что не уснуть; а еще бессонные ночи в лагере, когда перед тем, как объявить голодовку, собирался с духом и твердил про себя одну засевшую в памяти и набатом стучавшую в голове фразу на иврите: «Правды, правды ищи»[7].

А чего он ищет теперь, спросил себя Котлер. И весело ответил сам себе: «Правды, правды».

Он спустил ноги с кровати и встал. Натянул брюки и рубашку. Босыми ногами прошлепал к окну. По двору ходили цыплята и что-то клевали. «Ма нишма[8], цыплята!» — поприветствовал их Котлер. Умение веселиться перед лицом невзгод — таков был секрет его успеха. «И провалов тоже!» — весело поддразнил он себя.

За спиной заворочалась Лиора. Он отвернулся от окна и посмотрел на нее. Вот так они провели первую и, может статься, последнюю ночь

---

[7] Примечания: 7
Вт., 16:20.

[8] Примечания: 8
Как дела (*иврит*).

наедине. Молча лежали в одной постели, думая каждый о своем. Настоящая супружеская пара. Еще одна слепящая насмешка судьбы.

Лиора медленно открыла глаза. До чего она хорошенькая, даже когда просыпается не в духе! О чем он с улыбкой ей и сказал.

— Сколько времени, Барух?

Котлер сверился с часами.

— Рано. Самое начало седьмого.

— Ты спал?

— Размышлял.

Лиора села на кровати, откинула простыню. На ней были трусики и бюстгальтер. Он тоже на ночь остался в трусах. Сцена из мещанской комедии.

— Ты не изменил своего решения? — спросила Лиора.

— Много раз, — ответил Котлер. — Но всякий раз возвращался к тому, с чего начал.

Она встала и обвела взглядом комнату. Платье ее упало со стула и лежало на полу. Она подошла и нагнулась за ним. Котлер с восхищением и жадностью — жадностью человека, из рук которого что-то ускользает, — наблюдал за тем, как она поднимает руки и платье струится по ее телу. Словно занавес, закрывающийся после прекрасного спектакля.

— Хорошо, и что ты намерен делать?

Котлер снова взглянул на часы, хотя смотрел на них всего минуту назад.

— Если бы знать где, я бы раздобыл газету. И от чашки кофе не отказался бы.

— Очень хорошо, — сказала Лиора и направилась к двери.

— Не стоит, Лиора, — сказал Котлер.

— Почему не стоит? Если ты решился, зачем откладывать? Я разбужу хозяйку. Попрошу у нее газету и кофе. И можно будет сразу перейти к делу. Раньше начнем — раньше закончим. Разве ты не этого хочешь?

— Наверное, именно этого. Ты, как всегда, умеешь брать быка за рога. Мне представлялось, что это будет как-то грандиозно, хитроумно обставлено, но, видимо, все произойдет куда прозаичнее. Такое в жизни сплошь и рядом — думаешь, опера, а на деле оно оперетка. И это в лучшем случае. Но все равно я бы предпочел действовать цивилизованно. Не хлопать дверьми. Не поднимать никого с постели. Время для этого ушло.

— А как по мне, Барух, так вовсе даже не ушло.

— Возможно. Но сделаем вид, что это так, и будем надеяться, что мир преисполнится благородства и последует нашему примеру.

— Лично мне ни капли не смешно.

— Знаю, — сказал Котлер.

Лиора остановилась на полпути к двери, посмотрела на него.

— Хочешь узнать, что случилось в тот последний вечер, который мы с этим человеком провели у него дома? — спросил Котлер. — Ты не раз говорила, что любишь истории о славном прошлом. Эту историю я тебе не рассказывал. Да и вообще никому, насколько мне помнится. Может, только нескольким товарищам по камере и Мирьям. Потому что тут и рассказывать особо нечего. Ничего примечательного. Незначительный эпизод, не более. Даже в мои мемуары издатель решил его не вставлять. Итак, история последнего вечера, который мы с Владимиром Танкилевичем провели под одной крышей.

Лиора вздохнула и медленно направилась к кровати. Села на краешек и уставилась на Котлера взглядом человека, помимо воли поддающегося гипнозу. Котлеру хотелось отойти от окна, сесть, как прежде, рядом, но он сдержался. Предыдущий день, предыдущий час все изменили. **И** виноват в этом был он. И пока еще в его власти было все изменить. Только, он знал, ничего он менять не станет. Человек не может

проживать две жизни. Он обязан выбрать одну, и он свою выбрал.

— Хорошо, Барух, расскажи. Расскажи, и вернемся к нашему делу.

Лиоре, как и миллионам других людей, было прекрасно известно его житие. Молодой человек, некогда музыкант, а ныне специалист в области информатики, заявляет, что хочет разделить судьбу еврейского народа, и намеревается уехать из Советского Союза в Израиль, на историческую родину. В Министерстве внутренних дел ему, как водится, без всяких на то оснований отказывают в разрешении на выезд — якобы из соображений секретности, хотя те технические знания, которыми он владеет, на Западе давно устарели. Его клеймят как предателя, увольняют с работы, объявляют преступником, потому как не работать в стране рабочих — преступление. Он влюбляется в молодую женщину, тоже сионистку; они быстро женятся в надежде связать свои судьбы, но тут же расстаются: ей, тоже безо всяких оснований, дают разрешение на выезд, ему — опять нет. Ожидая, когда ему удастся воссоединиться с женой, он погружается в активистскую деятельность, и КГБ подсылает к нему провокатора, тоже еврея. Его обвиняют в государственной измене, устраива-

ют показательный процесс и приговаривают к смертной казни, но позже под давлением международной общественности вместо пули в голову присуждают тринадцать лет тюрьмы. И все это время он не отступает, никогда не отступает! И наконец — победа! — его освобождают.

В его жизни, конечно, было многое другое. Второстепенные заметки и эпизоды, не такие впечатляющие, но оставившие в нем глубокий след. Как, например, его последний вечер дома у Танкилевича. Ведь Танкилевич пригласил его к себе пожить, когда Котлеру было некуда податься. Мирьям уехала в Израиль. Небольшая их квартирка была записана на нее, и после ее отъезда (а среди отказников существовало негласное правило ехать, если выпускают) ему пришлось очистить помещение. Оставшись без работы и без жилья, он ночевал по очереди у других отказников и просто сочувствующих — неделю тут, неделю там. Все его вещи умещались в небольшом чемоданчике. Вскоре он станет самым известным отказником в мире, а пока он — нищий, чьими пожитками побрезгует и старьевщик. И тут, с немалым риском для себя, Танкилевич приглашает его к себе. До того момента Котлер знал его весьма поверхностно;

Танкилевич появился среди них год назад. Представился сионистом, заявил, что ему отказали в разрешении на выезд, — и ему поверили на слово. Если КГБ и внедрял шпионов в их ряды, что тут поделаешь. Вся их деятельность: курсы иврита, седеры на Песах, небольшие публичные демонстрации — с правовой точки зрения была законна.

Они странно смотрелись рядом. Танкилевич — почти на десяток лет старше, видный холостяк, и Котлер — лысеющий, юркий шмендрик. Танкилевич был зубным техником и обслуживал отказников — ставил им зубные протезы, пломбы, коронки. Как якобы получившему отказ, работать официально ему не разрешалось. Смысл этого запрета был ясен: разве можно допустить отказника к золоту и серебру? Так что его в любой момент могли обвинить в сбыте или спекуляции. Это давало почву для подозрений. Люди шушукались, а наибольшим скептиком была, как всегда, Хава Марголис, хоть во рту у нее и стоял мост работы Танкилевича.

Но Котлер не видел причин ему не доверять и считал его своим другом. Котлер тяжело переносил разлуку с Мирьям, и Танкилевич его утешал. Иногда они вместе слушали классическую му-

зыку — Скрябина, Прокофьева, Шостаковича. Вместе читали еврейские материалы и пробовали говорить друг с другом на иврите, хотя владели им еще весьма слабо. Все шло своим чередом, пока тем вечером Танкилевич не побежал в «Известия» с доносом.

А что вообще было тем вечером? Котлер сидел дома у Танкилевича и составлял для западных изданий сводку о том, что происходит за стенами психиатрических больниц. У него имелись подлинные письменные свидетельства одного диссидента, который только что вышел из такой больницы, и, что примечательно, медсестры из психиатрического отделения, потрясенной тем, как нормальных, здоровых людей объявляют умалишенными, упекают в психушки и колют лекарствами, пока они и впрямь не сходят с ума. Котлер раскладывал свой текст на столе в гостиной, когда вернулся Танкилевич. Они обменялись обычным приветствием. *Шалом. Шалом.* Всё как всегда. Танкилевич спросил, что он делает. Котлер объяснил. Танкилевич внимательно слушал, а потом, извинившись, ушел на кухню. Котлер продолжил писать. Внезапно послышался грохот, звон бьющихся тарелок. И не одной-двух; судя по звуку, в кухне не осталось целой тарелки.

Котлер кинулся к Танкилевичу и обнаружил, что тот стоит посреди груды осколков — разбилась стопка тарелок. И лицо у него очень странное. Не испуганное, не взволнованное, не огорченное. Скорее, отрешенное. Словно он слегка, самую малость был озадачен тем, какой учинил разгром. «Володя, что случилось?» — спросил Котлер. «Ничего, мелочи жизни», — последовал ответ. Котлер предложил помочь подмести осколки. Но Танкилевич сказал: «Спасибо, я сам». Видя такое странное его поведение, Котлер не стал настаивать. Оставил его в покое. Каждый из них тогда жил в большом напряжении, и никому было не ведомо, что тяготит другого. Котлер вернулся к работе. Танкилевич взялся за веник. Послышалось непонятное бормотание, шарканье. Котлер думал, что Танкилевич пойдет в коридор и выбросит осколки в мусоропровод, но, когда заглянул на кухню, увидел, что тот сидит и склеивает разбитую тарелку. Сколько тарелок он переколотил? Десять? Двенадцать? Осколков набралась приличная груда. Тарелки были самые обыкновенные — ни фамильные, ни импортные. Обычные советские тарелки, такие продавались в любом магазине по пятьдесят копеек за штуку. Ничего не стоило купить новые.

В то время наблюдался дефицит и нехватка всего и вся, но таких тарелок было навалом. Стоило ли стараться? «Володя, зачем ты это делаешь?» — спросил Котлер. На что Танкилевич ответил: «Чтобы отвести душу».

Так дружелюбно они говорили в последний раз. Точка. Конец.

Лиора выслушала его рассказ со скучающим видом, никак не реагируя, лицо ее ничего не выражало.

— И что тут загадочного? — спросила она.

— Я предупреждал, что это не бог весть какая история.

— Просто не вижу, что тут загадочного.

— Что загадочного? А вся эта история. Он тарелки разбил нарочно или они случайно выпали у него из рук? И что с ним такое творилось?

— Конечно, он сам их разбил, Барух.

— Да? А что с ним такое было?

— Его раздирали противоречия. Мучила совесть. Он не мог смотреть тебе в глаза.

— Возможно.

— А что еще это могло быть?

— Понятия не имею. Но по опыту знаю, что всегда бывает что-то еще. Сюрприз, какого нарочно не придумаешь.

За дверью послышались шаги, звуки первого утреннего шебуршения, шипение чайника на газовой конфорке.

— Что ж, — сказала Лиора, — сейчас ты все узнаешь.

Она встала и проворно направилась к двери. На этот раз Котлер ей не препятствовал. Лиора открыла дверь и вышла в коридор. Звуки пробуждающегося дома сделались громче. Он услышал, как Лиора поздоровалась с хозяйкой, как та поприветствовала ее в ответ и спросила, будет ли она завтракать. Мужской голос буркнул «доброе утро». Сердце Котлера сделало кульбит. Интересно, узнал бы он, что это голос Танкилевича, не будь он уже в курсе?

Вот оно. Он столько раз себе это представлял — и вот оно. Разумеется, все было совсем не так, как он воображал. Он в тщеславии своем рисовал себе, что встретит Танкилевича и прочих своих палачей, находясь на вершине власти, и тогда-то он смерит их взглядом свысока — ну прямо как Зевс смертных людишек. Но все обернулось иначе. Он, можно сказать, пал ниже некуда — более неудачного времени для судьбоносной встречи и не подберешь. Но вышло как вышло. Только дураки думают, что мир существует, чтобы тешить

их тщеславие. А жизнь на деле проходит не на вершинах, а в глубинах. И постоянно подкидывает нам хохмы.

«Вперед!» — скомандовал себе Котлер.

Десять решительных шагов — и он входит в кухню и оглядывает собравшихся. Женщины стояли, а Танкилевич сидел за кухонным столом с чашкой в руках. Лиора, понятное дело, его приходу не удивилась. Но и Светлана с Танкилевичем не удивились. Они словно ждали, что он появится. Кого они ожидали увидеть? Ясно, не его.

Танкилевич вздрогнул и уронил чашку на блюдце. Глянул, не разлился ли чай, а когда снова поднял голову, лицо его застыло, закаменело. Сомнений быть не могло. Оба все поняли.

— Бокер тов[9], Володя, — сказал Котлер.

Танкилевич и его жена обменялись быстрыми взглядами. Лицо женщины побелело. Она машинально перекрестилась.

— Боже мой, — сказала она.

— Вот Он твой Боже, — огрызнулся Танкилевич. — Так Он ответил на твои молитвы.

Он отвернулся от жены и уставился на Котлера с ненавистью загнанного в угол зверя.

---

[9] Примечания: 9
Доброе утро (*иврит*).

— Развлекаешься, да? Такому важному человеку больше нечем заняться? Что ж, давай, смотри внимательно. Перед тобой твой давний враг. Подлая скотина. Позор еврейского народа. Смотри, как судьба с ним поквиталась. Пусть твоя девушка над ним посмеется.

— Ты что думаешь, Володя, — сказал Котлер, — что я и «Моссад» к твоим поискам подключал? Что мы тебя пятнадцать лет разыскивали, как Эйхмана?

— Ты приехал, чтобы оскорблять меня? Оскорбляй. Торжествуй. Я человек беззащитный. Говори, что хотел, и убирайся.

— Володя, мы здесь по чистой случайности, а не по наводке «Моссада». И я не рвался тебя искать.

— Хаим, — сказал Танкилевич.

— В смысле?

— Я теперь Хаим, — заявил Танкилевич.

— Видишь, Лиора, — усмехнулся Котлер. — Вот и первый сюрприз.

— При чем тут сюрприз? — вскинулся Танкилевич. — Ты, что ли, один вправе менять имя? Я такой же еврей, как ты. И такой же сионист.

— Рад слышать, — сказал Котлер. — Ты уж прости, но не могу не сообщить: для меня это сюрприз. Когда мы виделись в последний раз,

ты в советском суде обвинял меня в том, что я сионист, шпион империализма и агент американской разведки.

Танкилевич оперся о столешницу, отодвинул стул и не без труда поднялся. Бросил злобный взгляд на жену и повернулся к Котлеру.

— Чего тебе надо? Приехал поквитаться? Что ж, я расплачивался и расплачиваюсь за свою вину. Я заплатил с лихвой. И все еще плачу. С меня уже нечего взять.

Выходя из кухни, он снова бросил взгляд на жену.

— Верни им деньги.

Втроем они смотрели на его широкую спину, на мгновение загородившую дверной проем, и слушали, как он тяжело ступает по коридору. Хлопнула входная дверь, и шаги заскрипели по гравию.

Оправившись от потрясения, Светлана вскочила из-за стола и кинулась за мужем, оставив Котлера и Лиору наедине. Снова хлопнула дверь, теперь по гравию шли Танкилевич и его жена. Лиора повернулась и взглядом спросила: «Доволен?» Что Котлер мог на это ответить? «Более или менее».

Из окна кухни было видно, что происходит

возле дома. Светлана нагнала Танкилевича в тот момент, когда он открыл дверцу машины и хотел сесть за руль. Она вцепилась в дверцу и не отпускала ее. Котлер и Лиора смотрели, как они дергают дверцу туда-сюда; слышали препирательства что погромче.

Светлана: «С твоим зрением! Забыл, что сказал доктор? Это самоубийство!»

Танкилевич: «Пусть они убираются из моего дома!»

Борьба не утихала. Танкилевич упорствовал и не хотел отпускать руль, Светлана намертво вцепилась в дверцу и не давала ее закрыть. В итоге Танкилевич плюнул, выбрался из машины и зашагал в сторону дороги. Уходя, бросил через плечо: «Чтобы через час их здесь не было!» Светлана смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, потом захлопнула дверцу машины. Обернувшись, она увидела Котлера и Лиору — они стояли у кухонного окна. Угрюмо на них поглядела и направилась к дому. Вскоре она вернулась в кухню. Все молчали, отчего казалось, что они в пустоте, в вакууме. Все трое глядели друг на друга так, словно между ними пролегла ледяная пустыня. Светлана, явно ошеломленная, нарушила молчание.

— Это правда — то, что сказал мой муж?

— Смотря о чем, — ответил Котлер.

— Что вы специально сюда приехали.

— Вы же сами были на вокзале. По-вашему, мы подстроили встречу? Вам что, кажется убедительной такая версия?

— Плевать мне на убедительность. Я вас спрашиваю, правда это или нет.

— Светлана, сами подумайте: если бы мы знали, где вы живете, разве имело бы смысл так все усложнять? Можно было бы просто объявиться у вас на пороге.

— Значит, вы это отрицаете?

— Да, и я об этом уже сказал. Вашему мужу сказал. И могу тысячу раз повторить. Только зачем? По опыту знаю, отрицать — бессмысленно. Это всего-навсего слова. Куда важнее логика и доказательства. Я вижу, что женщина вы толковая. Задайтесь вопросом: *зачем* бы мне понадобилось это отрицать? Если бы я и правда искал вашего мужа, почему не сказать об этом прямо? Какой смысл притворяться? Тем более что любой вам скажет: актер из меня никудышный. Моя сила совершенно в другом.

Светлана задумалась, стоит ли верить его словам, ему. По ее глазам Котлер легко читал

малейшее движение ее мыслей. Наконец мысль встала на место — Светлана приняла решение. Она подошла к плите и сняла чайник — он уже засвистел. И с чайником в руке повернулась к Котлеру и Лиоре.

— Хотите чаю? — осведомилась она. — А может, кофе?

— Очень гостеприимно с вашей стороны, — сказал Котлер, — но, наверное, не стоит. Ваш муж явно не хочет, чтобы мы здесь находились, а навязываться мы не хотим.

Светлана прошла к столу и взмахом руки отмела отговорки Котлера. Поставила чайник на стол.

— Муж не один здесь все решает. Садитесь, пожалуйста. Уйти всегда успеется. Да и потом, куда вы пойдете? Сейчас и семи еще нет. Где вы будете искать комнату в такой час? Да еще без маковой росинки во рту. Нет, я этого не допущу.

— Мы вполне способны о себе позаботиться, — сказала Лиора.

— А кто спорит? Но вы у меня дома. Вы — мои гости. Если вы говорите правду, значит, вас привело Провидение. На мужа моего внимания не обращайте. У меня свои убеждения, христианские, уж простите, что я вам такое говорю.

— Что ж тут такого? — сказал Котлер. — Не имеем ничего против христианских убеждений. Особенно если дело обойдется чашкой кофе.

— Вот и хорошо, — сказала Светлана. — Тогда садитесь.

Она достала из шкафчика банку растворимого кофе. И Котлер уселся на один из кухонных стульев. Взглядом пригласил Лиору последовать его примеру, но она, хоть и устала, упрямилась. Пассивное сопротивление. «Хорошо, но чего ради?» — безмолвно спросил Котлер. «Просто так. Ни для чего», — так же безмолвно ответила Лиора.

Светлана с банкой кофе в руке наблюдала за ними.

— Что ж вы не садитесь? — одновременно встревоженно и укоризненно спросила она у Лиоры.

— Демонстрирует свое неодобрение, — сказал Котлер.

— А что она не одобряет?

— Что мы отсюда не уехали.

— А прежде всего, что мы сюда приехали, — невозмутимо сказала Лиора.

— Но если вас сюда привела судьба, то о неодобрении не может быть и речи.

— Очень даже может, как выясняется.

— Но какой в этом смысл? Если судьба так распорядилась, тут одобряй, не одобряй — все едино. Стоите вы или сидите у меня на кухне, ничего от этого не изменится. Не изменится, даже если вы уйдете. Дерево упадет и преградит вам дорогу. Потому что, если вас сюда привела судьба, она удержит вас здесь. Я старше вас. Я жизнь прожила. И говорю по своему опыту. Судьбу понять бывает ох как непросто.

Светлана повернулась к Котлеру и спросила:

— Ведь правда же?

— Я бы сказал, что мы с судьбой идем рука об руку. Судьба тянет в одну сторону, а ты — в другую. То ты следуешь за судьбой, то она за тобой. И не всегда разберешь, кто кого ведет.

— Но вы же сказали, что вас сюда привела судьба.

— Привела, а я за ней пошел. Потому что решил пойти за ней. Сначала неосознанно, наугад. Но однажды понял, куда судьба меня ведет, и двинулся туда, уже целиком и полностью понимая, зачем я туда иду. Лиора мое решение не одобряет.

Светлана подошла к столу, поставила банку кофе рядом с чайником.

— А кофе вы будете? Потому что если будете, то его лучше пить сидя. Да и если не будете, все

равно садитесь. Мне оттого, что вы стоите, не по себе. На нервы действует. Стоите тут — ни дать ни взять полицейский или сотрудник похоронного бюро.

Лиора картинно вздохнула, медленно, нехотя подошла и села напротив Котлера. Подняла глаза на Светлану и театрально развела руками: дескать, будь по-вашему.

— Кофе выпьете? — спросила Светлана.

— После такого как откажешься?

Светлана разлила кипяток по трем чашкам. Затем принялась насыпать, помешивать, настаивать — целая церемония. Передав Котлеру и Лиоре их чашки, села между ними. Все пили кофе, пользуясь короткой тактической передышкой.

— Если позволите, — начал Котлер, — вот вы обмолвились о своих христианских убеждениях. Мне интересно, что вы под этим подразумевали.

— Я верю в милосердие Господне. Верю, что Он слышит наши молитвы.

— И мы, выходит, ответ на ваши молитвы, так надо понимать?

— Как вы объясните свой приезд сюда?

— Можно узнать, о чем вы просили Бога?

— Как и все, — сказала Светлана, — я просила, чтобы Он смилостивился над нами. Облегчил

бремя наших страданий.

— В таком случае, Он, кажется, выбрал далеко не лучших посланников.

— Как знать, может, в этом Его промысел.

— А откуда вам знать, что Он откликнулся именно на вашу молитву?

— На чью же еще? Вашу? Ее?

— Уж точно не на мою, — сказала Лиора.

— Тогда на вашу? — не унималась Светлана. — Вы верующий?

— Не особо, — сказал Котлер. — В последний раз я молился много лет назад. Но кто знает, как долго наша молитва идет до Бога? И как быстро Он на нее отзывается? В тюрьме я просил Его дать мне возможность выйти на свободу и встретиться лицом к лицу со своими палачами. Это было давно. Но, возможно, молитва — как радиосигнал, летит сквозь пространство, пока не достигнет цели. А ответ приходит не когда ты в нем нуждаешься, а когда угодно Богу, когда ты, может, и ждать ответ давно перестал.

— А может, Бог ответил сразу и на мою, и на вашу молитвы?

— Думаю, даже для Бога это слишком сложная задача.

У Котлера зазвонил телефон. Он выудил его

из кармана и уставился на высветившееся на экране имя.

— Это мой сын, — сказал Котлер. — Прошу меня извинить.

Он вышел из-за стола, отошел на пару шагов и лишь тогда поднес телефон к уху. Произнес имя сына и услышал в ответ его голос. На заднем плане раздавался лязг тяжелой техники, рев дизельных двигателей, гул полугусеничных машин.

— Секунду, Бенька, — сказал Котлер. — Сейчас, я только…

Он прошел в их с Лиорой комнату, закрыл дверь. И, подойдя к окну, выглянул в знакомый сонный двор. Не так он рисовал себе будущее своего молодого сына. Слово «молодой» как-то само выскочило. Они поручают молодым парням — хмурым детям, с нескладными руками и ногами, с гладкими еще щеками — выполнять эту паскудную работу. Уничтожать то, что построили их братья, и выгонять их. Как будто при этом можно по-прежнему продолжать думать, что они друг другу братья. Верить, что все это служит высшему благу. Благу всеобщему — и тех, кто блюдет порядок, и тех, кто оказывает сопротивление, и всех тех — несть им числа, — кто сидит перед

телевизором и заламывает руки. Вей из мир[10], как сказал бы его отец. Куда катится этот мир?

— Я собирался тебе позвонить, — сказал Котлер. — Ждал семи часов.

— Нас перебрасывают. Некоторые из наших до сих пор читают шахарит[11]. Но они могут молиться, лишь пока командиры не скомандуют отбой.

— Занятой денек у Бога. Так много молитв надо уважить.

— Не так уж и много, — ответил Бенцион. — Недостаточно.

— Как ты, Бенька? — заботливо спросил Котлер.

— Прекрати сюсюкать, — сказал Бенцион. — Я не за этим позвонил. Об этом я говорить не хочу.

Голос Бенциона дрогнул, и Котлер ощутил то же, что ощущал, когда сын был маленьким и кто-нибудь его обижал. Желание утешить, данное природой. Но сын уже вырос и в его утешении не нуждался. Да и обидел его на этот раз сам Котлер. Тогда какой сыну прок от его сочувствия?

— Я говорил с рабби Гедальей и кое с кем из

---

[10] Примечания: 10

Горе мне! (*идиш*)

[11] Примечания: 11

Одна из трех ежедневных молитв в иудаизме, читается по утрам (*иврит*).

парней, — продолжал Бенцион. — Мы не хотим в этом участвовать.

— Понимаю, Бенцион. Чудовищно и ужасно, что на это отрядили вас. Всем сердцем хочу, чтобы до этого не дошло. Ты звонишь, чтобы сообщить о своем решении или чтобы посоветоваться?

— Скажи, почему я должен это делать?

— Никакого откровения ты от меня не услышишь. Ты солдат армии нашего народа. Я могу лишь повторить то, что говорят твои командиры и министр обороны. И хотя я крайне не одобряю эту операцию, я все равно считаю, что обязанность солдат — выполнять приказы.

— Даже аморальные?

— Аморальные — нет. Но в Женевском соглашении ничего не сказано о том, что нельзя разрушать собственные поселения.

— Это сказано в Торе.

— Думаю, что и в Торе не сказано. Но, сам знаешь, я тот еще знаток Торы. В любом случае это к делу не относится. Нравится тебе это или нет, но у нас демократическая страна. Тора — это прекрасно, но страной мы управляем не по Торе. И похоже, по Торе никто никогда не управлял.

— Рабби Гедалья считает иначе.

— Кто бы сомневался.

— И не он один, а многие другие.

— Что ж, наберете большинство — сможете сформировать следующее правительство.

— Так что? Считаешь, я должен с этим смириться, даже если меня от этого с души воротит? Даже если я искренне верю, что это неправильно, что это грех против Господа — отдавать нашу землю? Скажи мне честно, а сам ты бы так поступил?

— Бенька, если тебе нужно, чтобы я тебя благословил, то ты этого не дождешься. Я бы с радостью, конечно. После того, что случилось, после того, как я поступил, мне бы очень хотелось выполнить твою просьбу. Но как бы я тебя ни любил, как бы ни хотел тебя порадовать, я не могу тебе лгать, сын. Я люблю тебя и именно поэтому не могу тебе лгать.

— Ты уже солгал.

— Ложь лжи рознь.

— Это ты так считаешь.

— Таков твой отец — отнюдь не идеал.

— И это все, что ты можешь мне сказать?

— Ты спрашиваешь, как бы я поступил на твоем месте. Задам тебе встречный вопрос. Что станет с нашей армией и нашей страной, если солдаты начнут решать, какие приказы выполнять, а какие нет? Одни считают, что разрушать поселения

неправильно, другие считают, что они незаконно заняли эту землю.

— Значит, мы должны идти против своей совести и просто ждать следующих выборов? Разве так ты поступал в Советском Союзе?

— Что бы кто ни говорил, но сравнивать Израиль с Советским Союзом еще рановато.

— Я не об этом. Я говорю о душе. Когда у человека душа кричит: нет! Что тогда ему делать? Не обращать внимания? Если ты видишь, что твоя страна катится в пропасть, ты не станешь ничего предпринимать? Ведь потом может стать слишком поздно.

— Ты так считаешь?

— Ты сам так говорил.

— Я говорил как политик, а не солдат. А это не одно и то же.

— Не вижу большой разницы.

— Что тут скажешь, Венька? Поступай, как считаешь нужным.

— И ты не поддержишь меня?

— Если ты нарушишь приказ, нет. Прости.

— Но говорю же тебе, у меня нет выбора.

— Неправда. Когда кажется, что выбора нет, просто присмотрись получше. Выбор есть всегда. И третий вариант найдется, и даже четвертый.

Хватит ли нам духу сделать этот выбор — дело другое. И я тут грешен не менее кого угодно.

Одиннадцать

Лиора и Светлана смотрели в глубь коридора, где скрылся Котлер. Обе ощущали неловкость, сидели, уставившись в одну точку. Сказать друг другу было нечего, а деваться — некуда. Лиора обвила пальцами чашку, смотреть на Светлану она избегала. Если нужно, она могла сидеть так часами. Сколько раз ей приходилось просиживать в правительственных кабинетах и приемных, ведя молчаливую войну с секретарем или референтом соперничающей стороны. Сколько раз во время последнего раунда переговоров ее вместе с младшими членами палестинской делегации удаляли из зала, и она сидела, глядя на закрытую дверь, за которой шли бесплодные прения.

Она с детства была приучена ждать. Ждали ее родители. Праведные, неукротимые, неприметные люди. Скромные герои, их имена, в отличие от имен Котлера, Мирьям и им подобных, не мелькали на страницах газет. Но ждали они не менее достойно. И на их личном примере Лиора получила свой самый первый и самый ценный урок. Железный урок: *«Мы переждем всех и вся»*. Этот урок уже несколько тысяч лет придавал ев-

реям силу, определял их характер. Но и их врагам он тоже придавал силу, тоже сказывался на их характере. Мастерами ждать были и те и другие. По разные стороны стола ли, забора ли — они ждали, что их противник исчезнет с лица земли.

Светлана поерзала на стуле, отодвинула его и встала. Лиора краем глаза проследила, как она выходит из кухни. И продолжила сидеть, не поворачивая головы, но изо всех сил напрягая слух. Ей хотелось уловить хоть слово из телефонного разговора Котлера, но слышны были только шаги Светланы — она прошла по коридору и скрылась в большой комнате. Послышался скрип двери, тяжелые, приглушенные шаги. Потом раздались более трудно определимые звуки — шорох выдвигаемого деревянного ящика, щелчок застежки, шуршание бумаги. Затем все эти звуки — в обратном порядке; наконец Светлана вернулась на кухню, подошла к Лиоре и протянула ей стопку купюр.

— Здесь все деньги, — сказала Светлана. — Я не удержала с вас за эту ночь.

— Ваше право, — сказала Лиора. — Но деньги Баруха, не мои. Отдайте их ему.

— Но я их уже принесла. Какая разница, кому брать?

— Я же сказала. Деньги его. Отдайте их ему. Я их не возьму.

Светлана уставилась на деньги, словно столкнулась с какой-то невероятно сложной дилеммой. И наконец нашла решение: положила купюры на стол. Села на свое место, и между ними снова воцарилось молчание. Только теперь Светлана в упор смотрела на Лиору, явно и откровенно ее изучая.

— Понимаю, понимаю, — сказала Светлана. — Я вам не нравлюсь. Вы против меня настроены. По-вашему, я женщина невысокого пошиба. Дурная женщина. Потому что какая еще могла выйти за такого, как мой муж, да?

— По правде говоря, — сказала Лиора, — мне нет дела ни до вас, ни до вашего характера. Я вообще о вас не думаю. Рискую показаться грубой, но скажу, что вы с вашим характером находитесь в самом конце списка моих забот. Или даже вообще в него не входите.

— Вот как, и какие же у вас заботы? — не унималась Светлана.

— Прошу вас, давайте посидим молча, пока Барух не вернется. А если вам совсем невмоготу молчать, можем обсудить погоду или ваш рецепт борща.

— Думаете, вы другая, не такая, как я, но вы ошибаетесь. Я тоже была юной девушкой, которая запала на взрослого, опытного мужчину. Он был не как все. Другие пили, распускали хвост, несли всякую чушь. Свяжись с таким — и понятно, что с тобой будет. И вдруг появляется мужчина, который словно светится изнутри. Хм… Как бы поточнее описать? От него словно свет исходил. И тебе начинает казаться, что только он способен вытащить тебя из трясины, в которую тебя затягивает жизнь.

Она придвинулась к Лиоре.

— Ведь так? — спросила она. Лиора не ответила.

Что ей было сказать? Она терпеть не могла задушевные разговоры. Весь этот психоанализ. Идиотские рассуждения, откровения, которым любили предаваться за бокалом белого вина в Тель-Авиве.

— Не думайте, что вы все знаете о нашей жизни, — продолжала Светлана. — Можно узнать, где вы родились?

У Лиоры не было желания посвящать ее в детали своей биографии, но Светлана упорно ждала ответа.

— В Москве, — наконец ответила Лиора.

— И долго вы там прожили?

— В мои шесть мы уехали.

— Думаю, вам очень повезло.

— Я не жалею. Я видела места и похуже, чем Россия и Украина. Кое-кто даже возвращается сюда из Израиля. А вот те, кто из Эфиопии, надо сказать, из Израиля обратно на родину не стремятся.

— А зачем они сюда возвращаются?

— За лучшей жизнью, наверное. Зачем еще люди куда-то переезжают?

— Правда? Хотелось бы мне посмотреть на эту лучшую жизнь. У меня две дочери, обе с образованием, а перспектив никаких. Зять сидит в Симферополе без работы. Три месяца проработал полицейским в Ялте. В отделе по борьбе с наркотиками. Хотите знать, каково это?

— Очень, — сказала Лиора.

— Так и быть, расскажу, — пропустив мимо ушей сарказм, сказала Светлана. — В месяц ему платили сто пятьдесят долларов. Выдали служебную машину и на месяц выделяли десять долларов на бензин. Десяти долларов хватало на день. Потом приходилось заправляться на свои. Нужны блокноты и ручки, чтобы писать отчеты, — плати из своего кармана. Нужно покупать

наркотики у преступников, чтобы их поймать, — тоже из своего. И как прикажете выживать в таких условиях? Честно выполнять свои обязанности? Надо было либо воровать, либо уходить. Большинство начинали воровать. Наш сказал, что это не с его характером. В такой обстановке он работать не мог. И уволился. А что, с его характером лучше сидеть без работы в Симферополе?

Светлана многозначительно посмотрела на Лиору, словно ожидая от нее возражений.

— Даже не знаю, что вам сказать.

— А тут и говорить нечего, — отрезала Светлана. — Один только раз в этой стране я позволила себе надеяться на лучшее — когда встретила Хаима. Мне было двадцать лет, и я жила в селе раз в пятьдесят меньше Ялты. Он стал работать у нас в зубной поликлинике. Немыслимо было представить, какими судьбами его занесло в наше захолустье, но тогда, при Советах, человек был как щепка — куда хотели, туда и швыряли. А если кто-то сам хотел круто изменить жизнь, к его услугам были миллионы деревень от Камчатки до Баку. О муже я знала лишь, что родился он в Черновцах, в эвакуации был в Казахстане, а потом переехал в Москву. Человека, за которого я вышла замуж, звали Владимир Тарасов. По пас-

порту он был русским. Мы поженились в тысяча девятьсот семьдесят девятом году. И лишь через десять лет, когда Советский Союз был на последнем издыхании, я узнала правду. К тому времени у нас подрастали две дочки, а жить в селе стало невыносимо. Людям платили зарплату водкой. Приезжал грузовик, и с него раздавали бутылки. Представляете? Всем — не только работягам, но и учителям. И лишь когда я стала настаивать, чтобы мы переехали, он мне все рассказал. Говорил и плакал.

— Вряд ли потому, что раскаивался.

— Легко осуждать других, — сказала Светлана. — А он больше десяти лет был вынужден скрывать, кто он есть. Скрывать от самых близких. От своих же детей. Думаете, это легко?

— Смотря что скрывать. Мужья вечно что-нибудь скрывают от жен, а родители — от детей. Удивительно, что он вообще решился о таком рассказать.

— О чем «таком»? Это же для него главное.

— Главное, что он — доносчик КГБ?

— Что он еврей.

— Ваш муж не первый, кто скрывал этот неблаговидный факт. До тех пор, пока он таковым уже не считался. В наше время многие находят у себя

еврейские корни. По воскресеньям в храме Гроба Господня от таких не протолкнуться.

— Вы хоть раз видели его в храме Гроба Господня? Хоть кого-нибудь из нас там видели? Но, не буду врать, я бы с превеликой радостью там побывала. Я мечтаю побывать в храме Гроба Господня, а муж — у Стены Плача.

— Прекрасно. Поезжайте. Кто вам мешает? Границы открыты. В Иерусалиме толпы паломников. Среди них немало русских. У Яффских ворот прямо целыми автобусами выгружаются. На базаре каждое третье слово — на русском. Даже арабские торговцы его уже выучили.

— Все это замечательно, только ведь я не о паломничестве.

— Да? А о чем?

— Вы слышали, что он говорил. Он — сионист. Он хотел бы жить в Израиле.

— Отлично. Так поезжайте. Бе-ацлаха![12] Я вам мешать не стану. Барух, думаю, тоже.

— Но вы же знаете: мы не можем. После того, что сделал мой муж, нас не примут. Ни нас, ни наших дочерей.

— Тут я вам не советчик. Наведите справки у

---

[12] Примечания: 12
Удачи! (*иврит*)

тех, кого приняли. Закон о возвращении, он для всех. Или почти для всех. Даже для преступников и предателей.

— Я сейчас не о законе.

— Вот как? Тогда о чем?

— О душе. Каково человеку жить в стране, где его презирают?

— Этим вопросом вашему мужу стоило озадачиться сорок лет назад.

— Поверьте, так и было.

— И он, видимо, нашел для себя ответ.

Светлана провела рукой по лбу — похоже, расстроилась.

— Ах, девочка, легко судить, когда не знаешь всех обстоятельств.

Лиора почувствовала, что ей противна эта женщина и ее приторные, мелодраматические, вкрадчивые речи. Она снова покосилась в сторону коридора — не появится ли Барух. Сколько еще она выдержит наедине с этой женщиной? Только заумных бесед о правосудии им не хватало. Кто на самом деле жертва? Кто преступник? И кто вправе их судить? *Кто?* Лишь дети да недоумки не судят, а скорбят и оплакивают. Но как судить о чем-то, если не знаешь всех обстоятельств? А судил ли хоть раз кто-нибудь, *зная* все обсто-

ятельства? При любой возможности каждый тасует факты на свой лад. Сегодня она в газетах — наивный беззащитный олененок. Завтра на свет вытащат другие факты, и она превратится в хитрую меркантильную суку. А позже, может статься, окажется в съемочном павильоне, и они с телеведущим, сидя на диванчиках с кофе в руках, будут изображать задушевную беседу, якобы сочувственную и искреннюю. Однако в данной ситуации, на этой кухне Лиора отнюдь не собиралась распространяться Светлане о них с Барухом. Никто из них этого не заслуживал. В мире полно нахалюг; они норовят разрушить вашу жизнь, от них ничего не скроешь, разве что кое-какие памятные картинки из прошлого.

Их московская квартира, она совсем еще малышка. Приходит зареванная из садика или с детской площадки, а отец твердит: «Тебе нечего стыдиться. Выше голову! Ты — дочь гордого и древнего народа».

Родительский альбом, и в нем газетные вырезки с портретами героев — кто-то бывал у них дома, кто-то сидит в тюрьме. Среди них на почетном месте — фотография Баруха. Хотя к тому времени, когда она хоть что-то стала понимать, его уже освободили. Фотографии запечатлели

моменты его триумфа. Невысокий человек с взъерошенными волосами и озорной улыбкой отдает честь почетному караулу в аэропорту имени Бен-Гуриона. Вот он сидит рядом с премьер-министром, и тот что-то шепчет ему на ухо. Вот его несет на руках восторженная толпа. Вот он стоит перед софитами и микрофонами, держа за руку заждавшуюся его красавицу жену.

Альбом с вырезками, вместе со шкафом орехового дерева, в котором он хранился, переехал с ними в Петах-Тикву. Но в Израиле эти вырезки оказались ни к чему. Советских врагов удалось одолеть, эта битва была выиграна. На смену ей пришла новая битва — обустроить жизнь в Земле обетованной. Придя из школы и в одиночестве дожидаясь родителей с работы, она иногда доставала и разглядывала альбом — на ребенка его магия действовала еще долго.

Годовщина Дня Иерусалима, они с родителями на встрече бывших отказников в лесу Бен-Шемен. Под соснами накрыты столы. Между деревьев развешаны гирлянды флажков. Старые активисты, поседевшие, но не утратившие бодрости духа. Не только ее родители — многие пришли с детьми, с внуками. Для большинства этот день был днем возрождения их народа. Израильские

парашютисты освободили не только Иерусалим — они, можно сказать, освободили их тоже. Там они с Барухом и познакомились. К аккумулятору чьего-то «фольксвагена» подключили микрофон, электронную клавиатуру и электрогитару. Барух встал за клавиши, кто-то взял аккордеон, отец — гитару, и вместе они исполнили «Кахоль ве лаван»[13]. Позже отец их познакомил. Ей было двадцать два, она оканчивала университет. «Серьезная девушка. Серьезно относится к учебе», — с гордостью сказал отец. *«Вижу, вижу»*, — поддразнил ее Барух и спросил, что она собирается делать после университета. «Я бы хотела заниматься политикой», — набравшись смелости, ответила она. «Активистка у вас выросла, Ицхак», — сказал Барух. «Не самый *плохой* выбор», — ответил отец. «Моя дочь так не считает!» — и Барух усмехнулся.

Та зимняя поездка в Хельсинки с торговым представительством. Посещение заводов по производству мобильных телефонов и бумажных фабрик. Было холодно, и Баруху пришлось надеть модное пальто, они с Дафной купили его в торговом комплексе «Мамилла». «Меня примут за

---

[13] Примечания: 13
«Голубое на белом» (*иврит*).

австрийского лыжника», — жаловался Барух. Он ходил в пальто, купленном в тысяча девятьсот девяносто втором году на киевском рынке по случаю его символического возвращения в бывший Советский Союз. Для украинского машиниста оно, может, и в самый раз, но для израильского министра торговли никак не годилось. Видя Баруха в этом пальто, она всегда вспоминала, как они с Дафной его покупали, — сначала долго бродили по магазинам, пили капучино в кафе «Арома». Как две подружки. А в номере отеля, хоть и убранное подальше в стенной шкаф, оно все равно словно безмолвно подсматривало за ними и укоризненно подмечало все, что они с Барухом творили в постели. Большого опыта ни у кого из них не было, но с ним она становилась раскованнее и увереннее. Он обхватывал ладонями ее груди, прижимался лицом к спине и сидел, как статуя, неподвижно, словно напитываясь жизненными соками. А в момент разрядки выкрикивал ее имя — как будто благодарил за то, что она утишила его тоску.

Кому о таком расскажешь?

И она спросила у Светланы:

— Итак, вы считаете, что Бог прислал нас сюда, чтобы вас спасти. Повести вас на Святую землю.

С Барухом в роли пастуха и вашим мужем в роли агнца.

— Вы верите в Бога? — спросила Светлана.

— Какое это имеет значение?

— Если мы собираемся говорить о Боге, то большое. Мне нужно знать, с каким человеком я говорю. С верующим или нет. Ведь и разговор тогда будет другим. Если вы верите, вы должны это понимать.

— Тогда пусть я верю.

— Тогда я повторю то, что уже говорила. Я верую, что Он справедлив и милосерден. Если вы называете себя верующей, значит, тоже так считаете. А в какого еще Бога стоит верить? Не в садиста же, который только и делает, что посылает нам страдания?

— Страдания Он тоже посылает.

— Он воздает грешникам за грехи их. Но Он и прощает. Нужно только искренне раскаяться. Мы же в это веруем, правда? В то, что, даже преступив черту, все равно можем уповать на Его прощение.

— То есть ваш муж раскаялся и заслуживает прощения.

— Мой муж сто раз уже раскаялся. И десятки лет нес свое наказание. Но он не самый плохой че-

ловек. Далеко не самый плохой. Хотя вам, скорее всего, в это не верится. Тогда, сорок лет назад, он совершил свой поступок скрепя сердце. Поступил против совести. И поплатился за это так, что и словами не передать.

— А при чем тут милосердие Господне?

— Я верю, неколебимо верю, что оно есть. Я знаю: Господь милосерд. И это не просто вера — я вижу свидетельство Его милосердия.

И Светлана со значением уставилась на Лиору горящими глазами. Глазами фанатичной причастницы.

— Он привел вас к нам, и это был знак Его милосердия. Я в этом убеждена, — сказала Светлана. — А дальше речь уже идет не о Его милосердии.

— Вот как? А о чьем же? — спросила Лиора, предугадывая, каким будет ответ, и ошиблась.

— О вашем, конечно.

— О моем? — спросила Лиора. — Именно о моем?

— О вашем. Для начала.

— Но почему? Мне никто ничего плохого не сделал. Мне нечего прощать.

— И тем не менее. Вы, я вижу, презираете моего мужа. Его многие презирают, хотя никому из них он лично ничего плохого не сделал. Конеч-

но, ваше прощение не заставит их переменить отношение. Для этого его должен простить один конкретный человек. Но вы способны на этого человека повлиять.

— Тут вы ошибаетесь. На этого человека никто повлиять не способен. Потому-то он и стал таким.

— И все же, какой он ни есть, — сказала Светлана, и по ее лицу было ясно, что она имеет в виду, — он мужчина.

Тут Лиора не выдержала и усмехнулась.

— Согласно последним новостям, — сказала Лиора.

Светлану, к радости Лиоры, эти слова озадачили, встревожили.

— Вы ведь не в курсе, о чем я говорю?

Светлана неуверенно, настороженно, испуганно смотрела на нее и молчала.

— Во всех газетах сейчас обсуждают наши с Барухом отношения. Понимаете?

Прижав чашку к груди, Светлана резко, рывком выпрямилась — так, словно готовилась встретить жестокий удар.

— Поэтому если вы верите, что нас вам послал Бог, то он выбрал для этого не лучшее время. У нас своих проблем хватает. И сюда мы приеха-

ли, чтобы от них убежать. А вместо этого на нас свалились новые. В любом случае от прощения Баруха вашему мужу в настоящий момент пользы не будет. Сейчас ему прощение самому бы пригодилось. Только он его выпрашивать не станет.

Однако ее слова Светлану не обескуражили, напротив, в глазах ее засветились задор и самодовольная хитреца.

— Тогда я пока не буду роптать, думать, что Господь мог выбрать для вашего приезда время и получше. Судя по тому, что вы сказали, нет причин сомневаться, что лучшего времени не найти. Наоборот, только повод еще раз подивиться Его мудрости. Именно Он по промыслу Своему свел нас в такой момент. Когда мы все в такой беде. Ясно как день, что все это по Его воле. Ну как вы не понимаете! Он привел вас сюда не только ради нас, но и ради вас тоже. Говорите, что от прощения Баруха моему мужу пользы не будет, но с чего вы взяли? Если таков замысел Господень, то польза будет всем. А что это кажется невероятным, так вот вам лишнее доказательство, что все было предопределено. По вашему лицу видно, что вы и сейчас не верите. Думаете, я помешалась. Но чудо наполовину уже свершилось. Вы здесь. А если чудо наполовину совершилось, значит,

совершится и вторая его половина, и отрицать это просто безумие.

Лиора, того не желая, начала относиться к этой гипотезе так, словно сама до нее дошла. А что, если все сложилось именно так, что им и правда это поможет?

«Барух Котлер, сбежавший с молодой любовницей, случайно встретил человека, который выдал его КГБ. И простил его!» И? И фотография, на которой эти двое пожимают друг другу руки. Следом сногсшибательное покаянное заявление. О том, как все произошло. *«Эта неожиданная встреча напомнила мне о главных ценностях — моей семье и моей стране. Моя преданность своему народу всегда оставалась неизменной, но своей семье я причинил боль и теперь сделаю все возможное, чтобы загладить свою вину».*

Стандартный текст. Если бы она только могла поступиться своими чувствами, она бы посоветовала Баруху именно так и выступить, слово в слово. Пошел бы он на это — дело другое. В любом случае какая польза могла бы быть от такого признания? Лиора попыталась подойти к вопросу прагматично, исходя из интересов Баруха, однако ее собственные интересы не менее прагматично уводили ее в сторону. Интересы Баруха — это

само собой, но у нее имеются и свои интересы. А если их интересы разнятся, что с ней станет? Что обычно бывает с отставными любовницами высокопоставленных мужчин? Когда навязчивое внимание утихает и люди находят новую скандальную тему, что происходит с этими женщинами? Позволяют ли им тихонько уйти в тень — стать супругой мягкого, всепонимающего мужчины, поселиться с ним в каком-нибудь неприметном городке, ходить за продуктами с малышом в коляске? А если вдруг им хочется большего — заполучить крупицу той власти, что так притягивает в мужчинах? Ополчится ли на них весь мир или отступится?

— Спросите свое сердце, — сказала Светлана. — Большего я не прошу. У вас есть возможность спасти чужие жизни. А если не проявлять милосердия — кому от этого станет лучше?

Тут открылась входная дверь, послышались тяжелые шаги — вернулся Танкилевич. Обе женщины во все глаза смотрели, как он входит на кухню; при виде Лиоры его лицо помрачнело.

Двенадцать

Котлер долго стоял у окна и смотрел на птичий двор. То, что раньше казалось ему правильным и даже необходимым, сейчас выглядело полнейшей глупостью. С чего он ваял, что можно уехать в эдакий романтический отпуск, когда дома творится невесть что и его сын вынужден в этом участвовать? Он не сумел понять, в чем заключается его долг. А долг был остаться и следить за развитием событий до самого конца. И когда армия и полиция пришли бы выселять жителей, он должен был стоять там с плакатом «Это было мирное поселение, пока вы не решили его ликвидировать!». Но он убедил себя, что нужно уехать. Что скандал все застит. Что его присутствие будет отвлекать от главного. Что полезнее и разумнее попросту исчезнуть. Казалось, что вдалеке, в Крыму, ему удастся развеяться. Но после разговора с Бенционом он понял: это самообман. Он заигрался. Игрой был его приезд в Ялту. А решение остаться и встретиться лицом к лицу с Танкилевичем, удовлетворить свое любопытство? Тоже игра. Что ж, поиграл денек, и довольно. Побывал в Ялте, увидел, как она изменилась за пятьдесят

лет. Весь день и всю ночь провел наедине с Лиорой — большего в их обстоятельствах и желать нельзя. Скорее всего, этим и придется удовлетвориться. Это плата за отказ от сделки на той скамейке в парке. А что касается Танкилевича, то чего еще Котлеру надобно? Главное он увидел. На основные вопросы себе ответил. *Жив ли Танкилевич?* Жив. *Справедливость восторжествовала?* Более или менее.

Сейчас все еще раннее утро. Если взять такси до Симферополя, через два часа они будут в аэропорту. Если повезет, еще через два часа окажутся в Киеве. К ночи уже будут дома. Ликвидацию поселения они вряд ли увидят, зато к каким последствиям она приведет, вполне. А это тоже важно — может, даже важнее всего. Ликвидация — дело предопределенное. Можно возмущаться, можно протестовать, но решение принято и отмене не подлежит. А вот какими будут последствия — вопрос. И последствия — это надолго. Побежденные, долго и трудно, будут вынуждены влачить жалкое существование. Котлер помнил, как было после ликвидации поселений в секторе Газа, — как множество растерянных, разуверившихся людей обреченно сидели на ступеньках своих трейлеров. Их обманули, оставили ни с

чем. Посулили золотые горы, а подсунули битые черепки. И что получили взамен? Точь-в-точь то, что предсказывал Котлер. От арабов прилетели ракеты — хотя кое-кто ждал букетов. Котлер не упрекал этих оптимистов. Им не довелось пройти через то, что выпало ему. Даже простые истины постигаются только на своем опыте. Такого рода опыт приобретается исключительно на собственной шкуре. Удерживать эту территорию становилось трудно и болезненно, но Котлер знал: боль надо научиться терпеть. Без боли жизни не бывает. Отрицать это — лишь множить боль. Именно это произошло, когда в две тысячи пятом году они отказались от поселений в Газе, и теперь произойдет снова — ведь если упорно наступать на старые грабли, результат не изменится. Согнать с насиженного места тысячи людей. Беспричинно пойти на людские жертвы. Чудовищная некомпетентность! Не готов защищать своих людей — не посылай их жить в таких местах, а если ты не собирался защищать их право жить в этих местах — нечего было и занимать эту землю. Середины тут нет. Обязан одному — обязан всем. Времена, когда можно было просто развернуться и уйти, давно канули в прошлое. Теперь либо держись там любой ценой, либо

разменивайся око за око. Вот так. И никак иначе.

«Надо же, какая непреклонность!» — подивился Котлер. Порой, когда у него возникали такие вот мысли, он словно бы стоял у себя за спиной и смотрел на своего небезынтересного двойника. Кто этот человек, откуда у него такие мысли? Возникали они всегда довольно неожиданно. Удивляли его не сами мысли, с ними он был согласен, а то, какую силу они обретали. Силу публичного деятеля, для которого его мысли равноценны приказам, и он уверен, что мир кинется их исполнять. Изначально Котлер таким не был — таким он стал. Сорок лет назад эту роль ему негаданно навязал Танкилевич. Никто не ожидал, что так все обернется. Когда он впервые увидел ту статью в «Известиях», ему стало нехорошо. Через две недели на него возле дома налетели человек пять агентов — окружили, обшарили пальто и затолкали, совершенно измочаленного, в поджидавшую рядом машину. В общем, начиналось все не слишком эффектно. Ему поневоле пришлось открыть в себе подспудные духовные резервы. А потом уже оказалось непросто вернуться к себе прежнему — довольно заурядному человеку без больших притязаний. Бывшему музыкальному вундеркинду с маленькими рука-

ми, специалисту по ЭВМ, мечтающему уехать в Израиль. Таким был чуть не каждый московский сионист. Во время своих мытарств ему довелось иметь дело с людьми, облеченными властью, и среди них оказалось много таких, кто не вполне в норме, — убогих и умственно, и морально. Они только и умели, что орать на других и чваниться. И он решил, что таким людям нельзя отдавать на откуп серьезные вопросы — вопросы, ради решения которых он пожертвовал всем. При этом он настолько от этих людей отличался, что удивительно, как сумел продержаться среди них столько лет. Теперь почти наверняка его время кончилось. Многим ли политикам удалось пережить такой скандал? Так почему бы не обратиться вновь к своим прежним скромным желаниям — просто жить на земле предков как обычный гражданин? Многим ли иммигрантам, даже бывшим отказникам, удалось достичь таких высот? Они наслаждались возможностью жить в этой стране, находили радость в любой житейской малости. Людям, которых так долго притесняли, все казалось чудом. Уличные таблички с именами и названиями из истории еврейского народа. Вид молодых еврейских солдат в форме. Непревзойденная по качеству

продукция еврейской промышленности. Даже деревья и птицы, особенно прекрасные оттого, что родились на еврейской земле. Им этого хватало. Только какой-нибудь самолюбец тешился более возвышенными помыслами — стать для своего народа вождем, вторым Моисеем или Бен-Гурионом. Правда, теперь, когда он столкнулся с интригами на высшем уровне, с гнусным злоупотреблением власти и знает то, что знает, не захочется ли ему махнуть на все рукой?

На птичьем дворе показался Танкилевич. Двигался он скованно, подагрически, так словно ноги ему почти совсем отказали. Мужчина он был все еще крупный, но сила ушла, мускулов не стало, локти в мешках кожи смахивали на луковицы. Он по-прежнему был широк в груди, но выглядел обрюзгшим и нездоровым. Лишь волосы хорошо сохранились — пышная, пожалуй даже чересчур, шапка седых волос, по контрасту с ними лицо казалось осунувшимся; кожа у рта и на шее висела складками.

Вид у него был недовольный и болезненный. С трудом согнув колени, он по плечи залез в курятник; поза была нелепая — ноги для надежности широко расставлены, зад в широких серых брюках обрамлен серым деревянным проемом.

Котлеру невольно припомнились другие его товарищи-сионисты — большинство на пути в Израиль вместе с ним прошли через жернова ГУЛАГа. Из заключения они выходили истощенными, иссохшими, беззубыми — и казалось, что это уже навсегда. Глядя на них сегодня, в это невозможно было поверить. Котлер недавно был в гостях у Иегуды и Рахели Собель, теперь они жили на территории Института Вейцмана. Им отвели небольшую виллу. Ужинали на террасе на заднем дворе, в окружении гранатовых и цитрусовых деревьев. У Рахели имелся десяток приправ в керамических горшочках. Иегуда загорел, округлился и излучал здоровье. А ведь он провел два года в дыре возле монгольской границы и почти все это время страдал от нагноения во рту. Или, скажем, Элиэзер Шварц — по утрам он делал зарядку на балконе, с которого открывается вид на Яффские ворота; Абраша Мирский получил несколько патентов по очистке воды и удалился жить в Маале-Адумим; Моше Гендельман отпустил длинную бороду, родил восьмерых детей и теперь возглавляет ешиву в Кирьят-Шмоне. По сравнению с Танкилевичем все они преуспели, каждый на свой манер. «Учитывая все это, — подумал Котлер, — Танкилевич просто не имеет

права выглядеть так ужасно». Ему здоровье никто не подрывал. Надо же было так себя запустить. И никто в этом не виноват. Только он сам. «С другой стороны, — подумал Котлер, — имеет — не имеет права, а поделом ему».

Танкилевич попятился, и из курятника показались его плечи и голова. Через силу распрямился. В руках он держал несколько белых яиц. Котлер затруднялся сказать, сколько их было. Штук шесть, а может, меньше.

Танкилевич задумчиво застыл с яйцами в руках, глядя куда-то вбок. Котлер у окна продолжал наблюдать за ним. Наблюдать, как кто-то размышляет, очень увлекательно, ни за чем так не интересно наблюдать, как за этим. Сокровенный, таинственный, красноречивый процесс. А всего увлекательнее наблюдать за тем, кого знаешь. Подсматривать за ним, когда он, и не подозревая, что на него смотрят, пытается что-то для себя прояснить. А тем более когда он, как вам кажется, думает о вас. Танкилевич опустил глаза на яйца, потом снова уставился на что-то у себя над левым плечом. Все его мысли сопровождались мимикой, и прочесть их не составляло труда, можно подумать, они были напечатаны крупным шрифтом: жалость к себе сменили упреки и обвинения, а их

— признание поражения и покорность судьбе.

Танкилевич повернул голову и посмотрел на окно, за которым стоял Котлер. Ошибки быть не могло. Еще не стемнело, и окна не начали бликовать. Котлер не уклонился от взгляда, а Танкилевич не отвел глаза. Так они и глядели друг на друга сквозь стекло. Что теперь выражало лицо Танкилевича? Строптивость — она промелькнула и почти сразу исчезла. А что выражало его собственное лицо? В точности то же, что при общении с кагэбэшниками и прочими вражинами. Непрошибаемое спокойствие. Выражение по типу «будь что будет». Нет, даже не так. Выражение, которое прямо-таки нарывалось на риск.

Танкилевич, хотя, сдается, страдал и телом, и душой, сделал шаг и медленно двинулся к Котлеру. «Если так суждено, — подумал Котлер, — будь что будет». Отошел от окна и направился навстречу Танкилевичу. Если уж им довелось встретиться, пусть это будет не в тесной комнатушке, не в четырех стенах, а во дворе, где солнце, воздух и бескрайнее небо — все, что полагается свободному человеку.

Тринадцать

Танкилевич стоял во дворе и ждал Котлера. К стене дома притулилась деревянная скамья — семь сколоченных вместе деревяшек — и поставленная на попа цинковая ванна. Танкилевич застыл в нерешительности: сесть ли ему на лавку или сначала положить яйца на бортик ванны, оттуда они не укатились бы. Он наклонился и бережно выложил яйца — волнение и необходимость сосредоточиться усугубили старческий тремор.

Проходя по коридору, Котлер заглянул на кухню. Лиора и Светлана выжидающе уставились на него. Он весело им кивнул и продолжил путь к боковой двери. Выйдя во двор, он увидел, что Танкилевич, нагнувшись, тянется к цинковой ванне, на слегка выгнутом бортике которой в рядок лежат яйца. «Тюк» о металл возвестил о том, что Танкилевич положил последнее яйцо.

— Вижу, у тебя тут свой небольшой кибуц.

— Да, что-то вроде того, — ответил Танкилевич. — Четыре полудохлые курицы.

— Во многих кибуцах сейчас не больше.

— Ужасно.

— Согласен, — сказал Котлер.

— Вот как. И это все? Больше ничего сказать не желаешь?

Танкилевич впервые взглянул на Котлера — воочию. Так-то он, конечно, видел портреты Котлера в газетах, следил за его взлетом. Но увидеть воочию — совсем другое дело. Что с ним сделали годы? Сорок лет назад это был тощий молодой человек, с живым умом и первыми залысинами, бедно одетый. Бедно даже для России семидесятых годов. Танкилевич одевался куда лучше и потому смотрел на Котлера свысока. Котлер и сейчас был одет небогато. Рукава рубашки слишком длинные, манжеты болтаются. Брюки, хоть он и пополнел, мешковатые. Только туфлям можно позавидовать. Явно заграничные — на базаре таких не купишь. Туфли выдавали в нем иностранца. Туфли и лицо. Спокойное, уверенное лицо человека, живущего в благополучной стране. Котлер восторжествовал и явился поважничать перед Танкилевичем.

— Володя…

— Хаим.

— Хаим, Хаим. Еще раз повторю: я приехал сюда не из-за тебя. Я понятия не имел, что ты здесь живешь. Не знал, что ты живешь в Украине, в

Крыму, в Ялте. Я вообще не знал, жив ли ты еще. Да меня это особо и не интересовало.

— Я написал письмо.

— Как ты сказал?

— Я написал письмо. Хаве Марголис.

— И что?

— Десять лет назад.

— Понятно.

— Она тебе не говорила?

— Хаим, ты вот ярый сионист, а за событиями в Израиле не следишь.

— Очень даже слежу. Смотрю русское телевидение. Читаю русские газеты. А друг читает прессу на иврите. В интернете.

— Значит, эта новость до тебя не дошла. А может, здесь она внимания не привлекла.

— Какая новость?

— О моем иерусалимском процессе. Хава Марголис выступала свидетелем со стороны обвинения. Вместе с Сашей Портным. И еще кое с кем. Дело возбудил другой активист. Он выступил в прессе с несусветными обличениями. Я защищался, и он подал на меня иск за клевету. Шапира. Из Гомеля. Знаешь такого?

— Нет.

— Так вот, он выступил весьма хитроумно — де-

скать, я был не агентом ЦРУ, в чем обвинил меня ты, а, наоборот, агентом КГБ. И тот показательный процесс в Москве был вдвойне сфабрикован. И я, обвиняемый, был в сговоре с властями, которые меня преследовали. Иными словами, я лишь убедительно делал вид, будто рьяно защищаю себя и сионистское движение, а на деле был врагом и процесс этот использовал, чтобы разоблачить других активистов. Настоящих активистов, таких как Хава, Саша и, надо полагать, сам Шапира. Именно из-за меня одних посадили в тюрьму, других отправили в ссылку. Представляешь? И я, значит, изображал из себя героя и стяжал всю славу, а на деле я — предатель и разыгрывал спектакль, беспрецедентный по своей хитроумности и лицемерию. Заставил, бессердечный, своих близких — родителей и молодую невесту — десять с лишним лет страдать по моей вине. И пока мои родные думали, что меня держат в жутких условиях в разных советских тюрьмах и лагерях, и делали все возможное и невозможное, чтобы меня освободить, я, агент КГБ, жил себе припеваючи в некоем тайном месте. Выходит, хуже меня предателя нет. Я даже хуже, чем ты.

— Обо мне на процессе тоже шла речь?

— А как же. Ты же мой пособник. Как же иначе.

Мы вместе все это придумали.

Одна курица подбежала к ним и нахально нацелила на Танкилевича глупый взгляд. Тот в сердцах отпихнул ее ногой.

— Когда был этот процесс? — спросил Танкилевич.

— Десять лет назад.

— Как раз когда я написал Хаве.

— Судя по всему, да. Знай я тогда, что ты жив, позвал бы в свидетели.

— В смысле?

— Ты бы подробно рассказал, как мы с тобой все это замышляли.

— С тобой мы ничего не замышляли. Но откуда мне было знать, не замышлял ли ты чего с кагэбэшниками за моей спиной.

— За твоей спиной?

— Да. Об этом я и написал Хаве. Я все ей объяснил. Что я не писал ту статью в «Известиях». Мое имя просто под ней поставили.

— Ясно. А что, на процессе давал показания против меня и уверял, что все сказанное в письме — правда, твой двойник?

— На меня оказывали давление. И накачивали лекарствами. Обо всем этом я написал Хаве. И надеялся, что она поделится этим с другими.

— Может, с кем-то она и поделилась, но не со мной. С того иерусалимского процесса мы не разговариваем. Пересеклись однажды — куда денешься — на встрече отказников в лесу Бен-Шемен. И много ценной информации она от меня утаила?

— Немало. Но вижу, тебе это неинтересно.

— Почему же. Но если под «неинтересно» ты подразумеваешь, что никакие твои слова не сумеют для меня перечеркнуть неоспоримые факты, то тут ты прав.

— Неоспоримые факты?

— Факты, которые большинство разумных людей, а не всяких там сторонников теории заговора считают имевшими место. Ты дал кагэбэшникам против меня ложные показания.

— Меня вынудили.

— Это было в Советском Союзе; кого там не вынуждали? Разве что явных дегенератов. Только большинство ведь не дегенераты. Вынуждали всех. И кое-кто все равно не поддавался.

Тот второй процесс. Котлер старался не говорить и не думать о нем. За него всем было стыдно. И хотя его оправдали, он был подавлен — а после советского суда, хоть ему и вынесли обвинительный приговор, испытывал воодушевление.

Сидеть в израильском зале суда и видеть, как Хава и Саша смотрят на тебя холодно, с ощущением своей правоты — так же, как некогда они смотрели на сотрудников КГБ… Ужасно.

Однажды в кафетерии суда он встретил Хаву, она сидела там в одиночестве.

— Почему ты это делаешь, Хава?

— Потому что смотрю объективно на факты и вижу очевидное. И они подтверждают мои подозрения.

— И что же это за подозрения?

— Что ты всегда был карьеристом. И тут, и там.

Их группка всегда держалась непримиримо. В этом не было ничего нового. И в Москве часто случались расколы и конфликты. В их рядах было почти столько же разных политических ответвлений, сколько у марксистов в революцию. Не говоря о сугубо личном соперничестве и вражде. Но разногласия были в порядке вещей. Диссиденты по природе своей всегда идут наперекор. Попади они в рай, они и там выявили бы недочеты и направили Богу петицию.

Как они общались потом, в Израиле? По большей части мирно. Там их идеологические расхождения утратили смысл и были задвинуты на дальнюю полку. Более того. Людей, которые

не выдержали и прогнулись под нажимом КГБ, простили. На общих сборищах их больше не чурались. Людей посторонних этот поворот дел удивил. Но когда ты сам через такое прошел, легче простить, чем не прощать. Ты ведь еще помнишь, как тебя самого накрывали приступы отчаяния. Кто мог похвастаться стальным характером? Очень немногие. С Собелем обошлись круто. Но он замечательно держался. И, надо отдать им должное, Хава Марголис и Саша Портной, оба были — кремень. Он говорил с людьми, которые знали, как они сидели, читал их книги. И не сомневался в их правдивости — не то что они в его. А другие старались держаться, да не все смогли. Никого из них не учили, как себя вести себя на допросах. Они разве что читали Есенина-Вольпина[14], его «Памятку для тех, кому предстоят допросы». В ней советовалось хранить молчание. Но хранить молчание можно неделю, две, месяц. А потом все равно приходится что-нибудь сказать. Особенно если следователь предъявляет факты, и среди них попадаются верные. Ты узнаешь, что другие дают показания, и задаешься вопросом: а есть ли прок от того, что

[14] Примечания: 14

Александр Сергеевич Есенин-Вольпин (1924–2016) — математик, один из первых правозащитников в СССР.

ты молчишь. Будешь твердокаменно молчать — загремишь по полной. Так все и рассуждают. Успокаивают свою совесть. Но вот печальная ирония: тех, кто прогнулся, простили, а он выстоял, и на него-то и набросились с обвинениями. Причем обвинили как раз в том, что он выстоял и за это обрел почет и славу. Как будто он все это подстроил. Как будто специально раздувал интерес к своему делу. Как будто он не сидел в тюрьме, как и другие. За что ему досталась такая слава? Уж точно не за красоту. Если он и привлек — причем несоизмеримо с другими — внимание всего мира, то только благодаря Мирьям. У Хавы, Саши и Шапиры не было такой душевной, преданной, прекрасной молодой жены, которая ходила из посольства в посольство, из «Хадассы»[15] в «Хадассу», добиваясь его освобождения. Не его вина, что мир обожает любовные истории.

А теперь он предал Мирьям, и грянул новый скандал. И как только он умудрился? Столько скандалов за одну не такую уж долгую жизнь! Первый скандал словно проторил дорожку следующим. Однажды привлек к себе мировое внимание — легко привлечь его и во второй раз.

---

[15] Примечания: 15
Женская сионистская организация США. Основана в 1912 г.

Особенно если дело касается какого-нибудь китча. Подарил миру историю любви — считай это первой главой романа. Далее должна последовать история ненависти. Такое мир готов потреблять в любых количествах. Своим первым скандалом, первой известностью он обязан Танкилевичу. Вторым — Шапире с его злобой. А за этот последний ему остается благодарить лишь себя.

Котлер посмотрел на стоявшего перед ним человека. Танкилевич медленно закипал. Котлер, хотя у него было полное право яриться, сохранял спокойствие, а Танкилевич распалялся, хотя никакого права не имел.

— Вот оно как, Хаим. Что бы там себе ни думал, но судьба снова свела нас. Что мы должны извлечь из этой короткой встречи?

— А что из нее можно извлечь?

— Не знаю. Раньше знал, очень хорошо знал. В тюрьме, особенно в одиночной камере, я сочинял длинные речи, надеялся однажды все тебе высказать. Оттачивал язвительные фразы, думая, что тебе на них нечего будет возразить и я сотру тебя в порошок. При желании из них можно было бы составить целую библиотеку. Я мерил шагами камеру и произносил их с гамлетовским пылом. А что еще мне оставалось?

«Котлер мысленно составлял речи и письма, сочинял диалоги? — подумал Танкилевич. — Что ж, он такой не один». На библиотеку, говорит, хватило бы? У Танкилевича таких томов набралось бы не меньше. Но говорить об этом Котлеру он не собирался.

— У меня был брат, — сказал Танкилевич. — И это я сделал ради него. Чтобы его спасти. Вот и все. У меня был младший брат, вор и дурак, и, чтобы спасти его жизнь, я пустил под откос свою.

— *Чью* это жизнь ты пустил под откос?

— А, — отмахнулся Танкилевич. — Ты получил тринадцать лет. Ну да, мне жаль, что тебе пришлось отсидеть. Но все и так к тому шло. Не меня, все равно кого-нибудь нашли бы, чтобы повесить на тебя срок. А вот я отмотал те же самые тринадцать лет, да еще кучу сверх.

Танкилевич так и видел, как эти годы громоздятся один на другой и рассыпаются в прах. Брата арестовали в шестьдесят четвертом. Значит, уже сорок девять лет, как он не хозяин своей жизни. Ему тогда едва минул двадцать один год. Брат был двумя годами моложе. Вместе с родителями Танкилевич пошел в алма-атинское отделение КГБ, чтобы умолять смягчить наказание. В итоге родители предложили ему пожертвовать собой

ради брата. Мать рыдала, отец настаивал. Жизнь брата внезапно оказалась в его руках.

— Брат тайком вынес золота на восемь коренных зубов, и его приговорили к смертной казни. Он был бедовый и нахальный, но восемнадцать лет — это ведь почти ребенок. Что мне оставалось делать — позволить его расстрелять?

— Значит, вместо него — меня?

— Да тебя бы не расстреляли.

— Меня обвинили в госизмене, за это полагалась смертная казнь — мазнут йодом, и — пулю в голову.

— А йодом зачем?

— Для дезинфекции, — Котлер ухмыльнулся.

— До тебя Портного и Баскина тоже обвинили в госизмене, и им вышку давать не стали. В Советах тогда уже не расстреливали диссидентов. Не то что при Сталине. Или при Хрущеве. При Хрущеве расстреливали таких, как мой брат. Все это знали. Их либо расстреливали, либо, еще хуже, губили на урановых рудниках.

— И на что ты подписался?

— Согласился сотрудничать. Взамен они смягчили приговор и дали ему десять лет. Он отсидел восемь, вышел и пустился во все тяжкие. Пока я прозябал в своей украинской глухомани, он

освоил Израиль, Америку, Европу и даже новую Россию. Торговал, завел бизнес, четыре раза женился, родил шестерых детей и бог знает чем еще занимался. Жил как король, пока какой-то московский бандит не пустил ему пулю в сердце.

И ради этого Танкилевич пожертвовал своей жизнью. Конечно, глупо было бы ждать, что брат подастся в науку или медицину. Брат был аферистом, и Танкилевич просто подарил ему возможность прожить подольше до тех пор, пока СССР не изменится под его запросы. В возмещение Танкилевичу досталось некоторое количество сувениров и открыток, несколько телефонных звонков и еще меньше визитов. Но когда они со Светланой перебрались из села в Ялту, а помощь от КГБ иссякла и остались только их нищенские пенсии, брат прислал денег. И не поскупился. Присланного хватило, чтобы купить дом и машину. Брат и после присылал деньги — пока его не убили. Это была, конечно, крохотная часть от его больших миллионов, но Танкилевич на большее и не претендовал. А потом его убили, и миллионы куда-то испарились. Танкилевичу даже не на что было слетать в Москву на похороны. Брата хоронили чужие люди.

— Ты работал на них с шестьдесят четвертого?

На скольких еще ты донес? — спросил Котлер и впервые за много лет взъярился.

— Больше ни на кого.

— За столько лет только на меня?

— Меня больше ни о чем не просили.

— Ты с самого начала знал, что доносить придется на евреев?

— Ничего я не знал. Полковник сказал: мы дадим тебе шанс восстановить честь семьи, защищая нашу родину от шпионов и саботажников. Я думал, он имел в виду, что ловить придется таких же, как мой брат. Которые тоже воруют, только в больших масштабах. Но первые несколько лет они почти не проявлялись. Видимо, у них не было недостатка в сексотах. Меня не трогали до тысяча девятьсот семьдесят второго года, а тогда решили перебросить в Москву. И лишь тогда мне объяснили, что от меня требуется.

— То есть ты никогда не подавал заявление на выезд в Израиль?

— Да как я мог? Меня держали за горло.

— А, то есть сионист ты был липовый.

— До семьдесят второго года я знал об Израиле не больше тебя. Следил за ходом Шестидневной войны. Смотрел Олимпиаду в Мюнхене. Свою национальность я никогда не скрывал. Но откуда

было взяться сионистам в Алма-Ате до семьдесят второго года? Что мы знали в Казахстане? Я познакомился с Израилем и иудаизмом вместе с тобой, в Москве.

— Будучи засланцем КГБ.

— Так вышло, что я открыл для себя сионизм не без участия КГБ. Но то, что я узнал, люди, с которыми знакомился, — да это было лучшее время моей жизни. Говоришь, я лишь притворялся, что мне дорог Израиль? А мне он был дорог не меньше, чем вам. Я тоже мечтал жить там, хоть и знал, что в моем случае это несбыточные мечты.

— Если ты так любил Израиль, то почему продолжал быть сексотом?

— В семьдесят втором брат еще сидел. А когда его выпустили, то стали грозить, что заберут отца. У него было больное сердце. Я вызвался сесть вместо него, но они не согласились. Заявили, что, если я перестану с ними сотрудничать, отца загонят в могилу, а заодно и меня. Даже после твоего процесса я попытался от них уйти, но они не отпустили. Я был готов сесть в тюрьму, но они сказали, что в таком случае твой процесс пойдет насмарку. Я главный свидетель и преступником быть не могу.

— У всех нас были семьи, — возразил Котлер. —

Всех нас запугивали. И приходилось взвешивать за и против. Но разве можно прикрывать своего брата за счет другого человека? Такого права нет ни у кого. Говоришь, меня не расстреляли бы, но откуда тебе было знать? А если бы расстреляли? А если бы в тюрьме что-то стряслось, что стоило бы мне жизни или сделало калекой? Допустим, ничего такого не случилось, но с чего ты взял, что тринадцать лет жизни мне лишние? Что можно разлучить меня с женой? И с родителями, которые так больше и не увидели меня на свободе? И когда они умирали, меня рядом не было. Эти потери ничем не возместить. В этой жизни точно. И нет этому никаких объяснений, кроме слабости. И ее я простить могу. А нежелания смотреть правде в глаза — нет.

Котлер пожалел, что слишком разгорячился. Он хотел говорить сдержанно, но при упоминании об отце его захлестнул поток воспоминаний. Где Танкилевич был, когда Котлер получил письмо с извещением о смерти отца? Какие унижения терпел, пока Котлер сотнями шил мешки для муки в Пермлаге? Письмо пришло в феврале, четыре месяца спустя после того, как мать его отправила. *«Любимый сыночек! Очень больно писать тебе о нашем горе».* Лагерное начальство

так и не смогло объяснить, почему письмо так жестоко и незаконно долго не передавали. После этого конфликт обострился настолько, что Котлер решил: конец близко. Он объявил забастовку. Отказался шить мешки. Написал протест в почтовое ведомство, прокурору, министру внутренних дел. И несмотря на то, что минуло уже четыре месяца, решил сидеть шиву. Сидел в бараке и, за неимением молитвенника, пытался припомнить отрывки из еврейской погребальной службы. *Услышь, Израиль, Господь — Бог наш, Господь один. Свят, свят, свят. Устанавливающий мир в Своих высотах, Он пошлет мир нам и всему Израилю, амен!*

Он приставлял к голове, как рог, один тфилин[16] — второй пропал в предыдущей схватке, из-за него она и началась. Когда он перестал подчиняться приказам охраны, урезонивать его пришел сам начальник тюрьмы. Приход начальника на него тоже не подействовал. Его не обмануть. Кто, как не начальник, держал у себя письмо? Котлер заявил, что в память об отце будет сидеть семь дней от и до и соблюдать все,

[16] Примечания: 16

Элемент молитвенного облачения иудеев. Две коробочки, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы. Тфилин повязывается на лоб и на руку.

что положено, не станет ни работать, ни бриться. И борьба пошла всерьез. Ему наполовину урезали пайку. Но соседи по нарам — крымский татарин, свидетель Иеговы и эстонский националист — поделились с ним. Еще до окончания недельного траура его бросили в карцер. Но он и там продолжал молиться, и тогда у него конфисковали тфилин. Двое охранников повалили его на каменный пол, а третий сорвал тфилин. Котлеру ничего не оставалось, как объявить голодовку до тех пор, пока ему не вернут его собственность. На девяносто восьмой день, когда у него уже начались перебои в сердце, начальник тюрьмы положил на металлический столик у его койки бархатный мешочек с тфилин. Все эти три месяца его кормили, вставляя зонд в глотку.

Но это дело прошлое, и он не любил к нему возвращаться. Нечего его ворошить. Котлер посмотрел на Танкилевича — тот так и застыл перед ним.

— Ладно, — сказал Котлер. — Все это в прошлом, и точка.

— Для кого? — спросил Танкилевич.

— Для всех.

— Тебе легко говорить. Ты — важная персона. У тебя молодая любовница.

— Ты прав, у меня любовница. Замечательная молодая женщина. Красивая, пылкая, умная. Все, о чем можно мечтать. Только завидовать тут нечему. С одной стороны, я с ней очень счастлив, с другой — жалею, что все так вышло. Я причинил боль детям и жене, осложнил им жизнь. Испортил свою репутацию, но у Шекспира есть хорошая строчка на этот счет. И раз тебе неймется поговорить о прошлом, то скажу: тем, что у меня такая любовница, я обязан тебе. Не разлучись я с женой на тринадцать лет, ничего такого бы не случилось. Я бы уехал вслед за ней в Израиль. Может, через год или два, но не через тринадцать. И тогда это была бы моя прежняя Мирьям. А не помешавшаяся на религии и поселенцах женщина. Мы оба были не по этой части. Мы зажили бы, как все нормальные люди. Вместо этого — тринадцать лет разлуки, тринадцать лет борьбы. Она боролась в одиночку. Власти Израиля дали ей от ворот поворот. Я для них был не вполне сионистом, потому что был участником более широкого движения за права человека. Помощь мне могла повлечь за собой нежелательные осложнения. Кто поддержал ее, кто ей помог? Верующие. Поселенцы. Конечно, она к ним потянулась. Они дали ей силы бороться. И я им за это благодарен. Но

женщина, которая меня дождалась, оказалась совсем не той, на которой я женился. А что касается Лиоры, моей любовницы, то что такую девушку может привлечь в низеньком толстячке вроде меня? Только то, что я угодил в горнило ГУЛАГа и оттуда выбрался.

— Именно. Так и есть. Что ни говори, а ГУЛАГ пошел тебе на пользу. Тринадцать черных лет, зато потом сколько светлых? Не будь этих тринадцати лет, кем бы ты был? Говоришь, была бы у тебя нормальная жизнь. А у меня она нормальная? Хорошо, в Израиле нормальная жизнь не такая, как здесь, но и там людям нелегко. Хотел бы ты прожить сорок лет так, как прожил я? А сейчас у тебя есть деньги и положение в обществе. Те тринадцать лет стали твоим лотерейным билетом.

— Ясно. А ты, значит, мне его подарил.

— Расценивай это как хочешь.

— Хорошо. Я обязан тебе своей любовницей и, видимо, всем остальным тоже. Но дорого ли тебе обошелся этот билет? Мне его вручил ты, но мог ведь вручить и кто-то другой. На этом судебном процессе кто угодно мог подписаться под обвинительным актом. Ведь меня, по твоим словам, и так уже ждали неприятности

— Но свою подпись поставил я. А почему, я тебе уже объяснил. И я же расхлебывал последствия все эти годы. По сей день!

Последние слова Танкилевич произнес с напором, словно пытаясь пробить разделяющую их непрошибаемую стену. Он долго терпел напраслину. И далось ему это не так просто, как Котлеру хочется думать. Желание достучаться до Котлера нахлынуло волной. В голову с оглушающим грохотом ударил прилив. Глаза заволокло белой пеной. Колени его подогнулись, и он ушел в нее с головой.

Котлер увидел, как глаза Танкилевича стали пустыми, потом недоуменными. Танкилевич покачнулся и стал заваливаться на бок. Котлер не успел подхватить его — не сориентировался. Падая, Танкилевич задел плечом ванну, и от удара яйца покатились по бортику. Три упали на землю, но, как ни странно, остались целы.

Четырнадцать

Котлер со Светланой, подхватив Танкилевича с обеих сторон под руки, тащили его в дом. От него самого помощи было мало, он волочил ноги и что-то невнятно бормотал. Лиора шла за ними.

Миновав кухню, они добрались до гостиной и уложили Танкилевича на диван. Лицо у него посерело. Он непрерывно что-то бормотал. Котлеру удалось разобрать несколько фраз. «Поднял руку на мирного гражданина, сволочь! У меня есть свидетели. Я на тебя в полицию заявлю».

Светлана склонилась над мужем, потрогала ему лоб.

— Хаим, ты меня слышишь? Хаим?

Из кухни вышла Лиора со стаканом воды. Протянула его Светлане, та молча взяла. Поднесла к губам Танкилевича, попыталась его напоить. Но он пить не стал, и она поставила стакан на журнальный столик.

— Надо звонить в «скорую», — заявила Светлана.

На столике лежала трубка от беспроводного телефона. Светлана схватила ее, набрала номер.

— Такое раньше случалось? — спросил Котлер.

Светлана коротко качнула головой и, ничего не ответив, прижала трубку к уху.

Танкилевич затих. Он больше не бормотал, а лежал, закрыв глаза и часто, поверхностно дыша.

— Чтоб вас! Весь день до них не дозвониться, — шипела в трубку Светлана.

Пока она ждала ответа, Лиора взяла со столика стакан и смочила в нем пальцы. Присев на край дивана, принялась водить по лбу, по вискам и подбородку Танкилевича. Пощупала пульс на шее. Все это она проделала уверенно и неожиданно ласково. От ее стараний Танкилевич стал дышать ровнее. Котлер наблюдал за ней, его переполняло восхищение. Если она так ухаживала за чужаком, врагом, то как бы она стала ухаживать за ним? Разве можно потерять такую женщину? О таком даже помыслить страшно.

— Есть салфетка или носовой платок? — спросила Лиора.

Светлана — она с ними все еще была в контрах — нехотя обвела взглядом комнату. И только собралась ответить, как на том конце сняли трубку.

— Да, здрасьте, — сказала Светлана, — я хочу вызвать «скорую».

Тем временем Котлер выудил из кармана брюк

носовой платок и подал Лиоре. Пока платок намокал в стакане, они прислушивались к разговору.

— Это моему мужу, — говорила Светлана. — Он потерял сознание.

Лиора приложила компресс ко лбу Танкилевича, и он пошевелился. То ли компресс на него подействовал, то ли взвинченный голос жены.

— Семьдесят, — сказала Светлана. — Да, аритмия есть.

Она вслушивалась в то, что ей говорили в трубке, и с все возрастающим беспокойством оглядывалась на мужа.

— Да, дышит. Нет, пульс и давление не мерила. Когда бы, по-вашему, я успела это сделать? Он не приходит в себя. Я не врач. Поэтому я вам и звоню.

Танкилевич — его голова покоилась у Лиоры на коленях — с усилием приоткрыл глаза. Обвел взглядом комнату, смутным взглядом мазнул по Лиоре и мрачно уставился на Котлера и на жену.

— Что значит много вызовов? — сказала Светлана. — Вы скорая помощь. Человеку плохо.

Танкилевич попытался приподняться и что-то сказать. Губы его двигались, но он только и мог, что хрипеть.

— Может, через час, может, через два. Ничего

себе ответ! Черт бы вас побрал!

Она с раздражением дала отбой и посмотрела на Котлера и Лиору.

— Вот в какой стране мы живем! Обычный человек — ноль без палочки. Даже меньше. Упадешь на улице — никто и ухом не поведет.

Она подскочила к дивану, отодвинула Лиору. Обхватила голову Танкилевича. Он досадливо посмотрел на нее. Снова попытался что-то сказать, но голос опять ему отказал.

— Дайте ему воды, — сказала Лиора.

Разозлившись, что ей указывают, Светлана второпях схватила со столика стакан и поднесла к губам мужа. Танкилевич сделал несколько мелких глотков.

— Не надо «скорую», — наконец смог выговорить он.

Светлана вглядывалась в него — ее снедала тревога. Потрогала ему лоб.

— Посмотри, какой ты бледный. И холодный.

Танкилевич молча и саркастично глянул на нее и закрыл глаза.

— Мне твой вид совсем не нравится, — сказала Светлана.

С этими словами она вскочила, кинулась в другую комнату, стала там что-то искать. Вернулась

с механическим тонометром.

— Эта из «скорой» спросила, измерила ли я ему давление. А если бы даже и измерила? Они что, быстрее бы приехали?

Танкилевич покорно дал надеть на руку манжету и накачать ее резиновой грушей.

— До стариков им вообще дела нет. К молодому еще, может, и приедут. Но чтобы к пожилому? Это всем известно. Они не приезжают. Даже если человек на грани смерти, им плевать. Если у пожилого инфаркт, лучше оставить его дома. А то вдруг «скорая» приедет, а он еще не умер — тогда придется везти его в больницу. А там что? Будет только койку занимать. Стариков и оперируют неохотно. Зачем расходовать на них и без того скудные ресурсы? Он может скончаться прямо на операционном столе, а если и выживет, то где гарантии, что протянет дольше недели? Но это, конечно, касается только тех, у кого нет денег. Потому что, если деньги у тебя есть, ты не станешь звонить в государственную скорую помощь. Позвонишь в частную. Но если денег нет, никто тебя как следует лечить не будет. Какой смысл вообще тогда с тобой возиться?

Пригнувшись, Светлана следила за стрелкой прибора. Потом мрачно покачала головой.

— Сколько? — спросил Котлер.

— Восемьдесят на пятьдесят. Опасно.

Светлана стащила с руки Танкилевича манжету и неожиданно принялась все более пристально вглядываться в мужа. Потом приблизила к нему лицо и громко, настойчиво спросила:

— Хаим, ты меня слышишь?

В ответ Танкилевич зажмурился и едва слышно попросил:

— Оставь меня в покое.

— Оставить в покое? — Светлана обиделась. — Когда ты в таком состоянии?

Танкилевич неодобрительно промолчал.

Светлана продолжала пожирать мужа глазами, словно хотела передать ему свою тревогу, но Танкилевич не шелохнулся. Казалось, его раздражали и собственная жена, и собственная беспомощность. Светлана продолжала упорно сверлить его взглядом, но потом лицо ее погрустнело, она задумалась.

— Можно сколько угодно проклинать эту систему, но что толку? От государственных учреждений чего ждать? Люди, которые там работают, живут не лучше других. Насчет полиции я вам уже рассказывала, — и Светлана посмотрела на Лиору. — Сколько получает та женщина на теле-

фоне? Сто долларов в месяц? Сто двадцать? И как ей на это жить? То же самое с медсестрами. Даже в больницах не хватает лекарств и оборудования, а о неотложке и говорить не приходится. Повезет, если хоть одеяло дадут. Если и выделялись на медицину какие-то деньги, то их давно разворовали бюрократы.

— Вы говорили, есть платная частная «скорая», — сказал Котлер. — Если они приезжают быстрее, позвоните им.

— А деньги? — осведомилась Светлана.

— Если ему нужна помощь, звоните, — сказал Котлер. — Я оплачу.

Тут Танкилевич вздрогнул. Раскрыл глаза, попытался — безуспешно — приподнять голову. Сдался и недовольно посмотрел на Светлану.

— Можно попробовать позвонить в «Хесед», — неуверенно предложила она. — У них есть медслужба.

Танкилевич продолжал буравить Светлану взглядом, призывая ее угомониться.

Она заломила руки и с жалостью посмотрела на него.

— Нет. Тебя нельзя оставлять так. Я не могу. Это все равно что убить тебя своими руками.

При этом она не сдвинулась с места. Некоторое

время было слышно лишь, как громко дышит Танкилевич. И тогда Лиора взяла со столика трубку.

— Диктуйте номер, — сказала она.

— Чей? — спросила Светлана.

— Платной «скорой».

— Я его не знаю. Никогда туда не звонила.

— Найдите, — сказала Лиора.

С дивана донеслось сдавленное «нет». Не обращая внимания на Танкилевича, Лиора с телефоном в руке направилась на кухню. Вернулась с какими-то купюрами. Протянула их Светлане.

— Вот предоплата за неделю, те деньги, что вам дал Барух. Возьмите. Это не милостыня. Они ваши по праву. Мы сами решили съехать раньше, сами нарушили договоренность.

Светлана медлила в нерешительности, глядя на мужа.

— На «скорую» этого хватит?

Светлана кивнула, но деньги все равно не брала и стояла, словно в столбняке. Лиора сунула купюры ей в руки.

— Узнайте номер, а я позвоню.

Светлана посмотрела на мужа, его глаза на бледном лице горели. Опустилась возле него на колени, взяла за руку.

— Пожалей меня, — попросила она.

В ответ Танкилевич только мотнул головой. Светлана вскочила, схватила себя за волосы и пронзительно — Котлер аж вздрогнул — завопила:

— Нам и обратиться не к кому! Да что ж это за жизнь такая?

Танкилевич закрыл глаза, безучастно лежал на диване, словно не о нем шла речь. Светлана переключилась на Котлера и Лиору.

— Жить здесь стало просто невыносимо!

Котлер посмотрел на нее, потом окинул взглядом комнату — она была всего лишь частью дома, — участок, машину возле дома, но спорить не стал.

— Люди в этой стране задыхаются. Медленно, постепенно, пока совсем не станет нечем дышать. Теперь настал и наш черед. Мы тоже много лет задыхались, но всегда чудом удавалось вдохнуть раз-другой, а теперь всё. Нам перекрыли кислород — как и всем, кто не имеет возможности отсюда уехать.

— В Израиль?

— В Америку. Канаду. Австралию. Германию. Куда угодно, лишь бы спастись. Можно и в Израиль. Муж — еврей, дочери — наполовину еврейки,

и я, гойка, к ним в нагрузку. Я все прекрасно понимаю. Мы к евреям плохо относились. Русские и украинцы. Жуткими были антисемитами. Наши отцы и деды, угнетая евреев, устраивая погромы, вынуждали их уехать из страны. Из-за того что мы не давали евреям житья здесь, им только и оставалось, что бороться за свою землю. Они проливали за нее кровь. И вот прошло сто лет, и почти все евреи уехали. Мы победили! Но как мы празднуем свою победу? Из кожи вон лезем, чтобы присочинить себе какого-нибудь дедушку-еврея и поехать к евреям в Израиль! Ха! Такую шутку выкинула история. Только кому смешно?

— Всем и никому, — сказал Котлер. — Такие они, еврейские шутки.

— Здесь никому не смешно. Люди либо уезжают, либо мрут.

— Вот чем закончилась еврейская мечта о Крыме. А ведь одна только подпись Сталина — и Крым был бы еврейской землей.

— Да, слышала я о такой мечте. Сталин много евреев поизвел. Только русские не немцы — репараций не выплачивают. Да что об этом говорить? Таких случаев, когда никто ни за что не платит, в истории тьма.

Танкилевич лежал на диване, прерывисто

дышал. Лежал неподвижно, покоился, словно невозмутимо — наподобие фараона — ожидал встречи с неизбежным. Котлеру было хорошо знакомо это состояние, это чувство. Человек горделиво отрешается от мирской суеты. Смерть увенчает его и сразит его обидчиков. Именно такие чувства им владели во время затяжной, духоподъемной голодовки. Он словно сжимал в руках карающий меч смерти, направив его сверкающее лезвие против беззакония. Но с чем сражался Танкилевич? Он из принципа не примет помощь от Котлера. Скорее предпочтет лишить себя жизни и осиротить жену и дочерей. Гордыня и озлобленность — вот что им движет.

— Нам пора, — сказал Котлер.

Посмотрел на Танкилевича, ожидая, что он скажет, но тот промолчал. Лиора — а ведь она сначала не хотела сюда приезжать, да и потом рвалась поскорее уехать — тоже промолчала. Все сложилось так, что отъезд не радовал.

На слова Котлера отозвалась только Светлана.

— Вот как, значит? — спросила она. — Бросаете нас вот так вот?

И она указала глазами на удручающую картину за своей спиной. Даже утреннее солнце не могло разогнать царивший в комнате унылый

полумрак.

— Думаю, хватит и того, что случилось, — сказал Котлер. — Уедем, пока не случилось еще что-нибудь похуже.

— Насчет этого вы зря тревожитесь. В нашем положении хуже стать уже не может.

— Вашему мужу нужна «скорая». Из-за меня он от нее отказывается. Нам лучше уехать. И не только из-за вас. Нам действительно пора. Лиора вам все сказала. Эти деньги ваши по праву. Потратьте их на его лечение.

И без лишних слов Котлер и Лиора направились к выходу.

— Ну и уезжайте! — крикнула Светлана. — Но вы преступаете волю Божию!

Тут уж Котлер, презрев доводы рассудка, не смолчал. В нем вскипело ретивое.

— Извините, — сказал он, — но давайте хоть сейчас оставим Бога в покое. Я одного не понимаю. Вы говорите, вам перекрывают кислород и всячески притесняют. Но как вы жили, на что существовали все эти годы?

— Как? Крутились как могли. Мы были тогда еще относительно молодыми, здоровыми. Держались до последнего. Ни у кого ни копейки денег не брали. Даже когда можно было, Хаим все

равно на это не шел. Говорил: «Не могу просить у них». Но другого выхода не было. Либо идти на поклон, либо превратиться, как другие здешние пенсионеры, в жуков-навозников, копошащихся в отбросах. И я заставила его обратиться в «Хесед». Сам бы он не пошел. И как в «Хеседе» к нему отнеслись? Посочувствовали? Проявили хоть каплю участия? Нет! Они его унизили. К ним пришел человек в нужде, преданный еврейскому народу, а они обошлись с ним, как с собакой.

Танкилевич по-прежнему лежал, не открывая глаз, но явно вернулся на бренную землю. Он прислушивался к разговору.

— Не думайте, что вам удастся уехать, так и не сняв розовые очки, — прошипела Светлана. — Знаю, женщине не пристало ронять себя, вываливая на других свои проблемы. Но мне не стыдно. Стыд — это роскошь, а мы себе позволить ее не можем. Муж обратился в «Хесед» — так делают все евреи, когда им требуется помощь, а глава отделения приняла его очень холодно. Помочь согласилась, но потребовала от него взять на себя определенные обязательства. И муж много лет эти обязательства выполнял, а теперь у него нет уже больше сил. Сами видите, в каком он состоянии. Как можно с такого чего-то требовать?

А она теперь, когда он эти обязательства больше выполнять не может, хочет лишить нас пособия. Попросту говоря, нам теперь хоть сразу в гроб ложись.

— Что за обязательства? — спросил Котлер.

Светлана запнулась и взглянула на Танкилевича. Тот открыл глаза, теперь он смотрел на нее презрительно, как на неразумного ребенка-недотепу.

— Нужно было раз в неделю ездить в Симферополь, — выдавила из себя Светлана.

Котлер с минуту помолчал, потом улыбнулся.

— Поездка в синагогу раз в неделю, — сказал он. — Для миньяна.

Он произнес это слово на иврите, подражая Светлане, — та вчера щегольнула им. Она уловила насмешку.

— Он бы и сам с радостью ездил! — запротестовала она. — Когда он был здоров, он ездил с удовольствием. Если бы она просто попросила. Но заставлять верующего выполнять свой долг — оскорбление. Причем двойное оскорбление. И человека, и Бога.

— Понятно, — сказал Котлер. — Наверное, поэтому Бог нас к вам и прислал.

— Не стану утверждать, что мне ведомы Его

помыслы. Но когда наша жизнь повисла на волоске, Он привел к нам единственного человека, который способен нас спасти.

— До сих пор не понимаю, как, по-вашему, я могу вас спасти.

— Наконец позволить нам отсюда уехать.

— В Израиль.

— В Израиль.

— Из Киева в Тель-Авив регулярно летают самолеты. Я и сам надеюсь успеть на сегодняшний на рейс. Если ваш муж настолько оправится, что будет в состоянии лететь, вы уже завтра сможете сесть на самолет.

— Ваша подруга сказала то же. Но вы оба знаете, что это не так. Взять и полететь мы не можем. При таком прошлом, как у моего мужа, это исключено. Сначала нужно оправдать его перед еврейским народом.

— Понятно. И оправдать его должен я?

— Кто же еще? Зависело бы это от меня, я бы давным-давно это сделала.

Танкилевич не берет у Котлера деньги, что тогда говорить об оправдании — на него-то он, наверное, прав имеет еще меньше? Но Танкилевич не спешил протестовать. Напротив, принял еще более величавый вид — вид человека, который

не просто заслуживает оправдания, а которому в оправдании долго и жестоко отказывали. И вот так — *трагическим страдальцем* — он предстанет перед Создателем! От Котлера явно ожидали, что он отпустит Танкилевичу грехи, хотя тот нисколько не раскаивался. С какой стати? А потому что Танкилевич в нужде, зависит от него, а значит, его нужно пожалеть. И Котлеру, благополучному и облеченному властью, низко и мелко требовать, чтобы Танкилевич раскаялся, признал вину. Да и, в конце концов, что такое вина, что такое невиновность? Вдобавок бывают же смягчающие обстоятельства. Разве не такая логика сейчас в фаворе? Причина и следствие далеко не всегда однозначны — так ведь нынче принято думать? А еще считается, что все подлежит пересмотру и никто не смеет утверждать, что обладает абсолютной истиной. Согласно этой логике для Котлера оправдать, даровать прощение — значит устранить несправедливость. Несправедливость, которая заключается в том, что он облечен властью, а Танкилевич нет. Сказать: «Я тебя прощаю» — было равносильно: «Прости меня, пожалуйста». Или как минимум: «Прости за то, что не простил тебя раньше».

Вот лежит Танкилевич — предположительно,

одной ногой в могиле. Светлана умоляет оправдать ее мужа перед еврейским народом. А если сделать вид, что он согласен? Чуть покривить душой. Зато она успокоится и сможет вызвать платную неотложку. Быть хоть отчасти причиной смерти Танкилевича — только этого не хватало. Тем более что раньше он и правда желал ему смерти. Только поперек себя не попрешь — не умеет он давать пустых обещаний.

— Так вы это сделаете? — спросила Светлана.

— Звоните в «скорую», Светлана. Сначала ему нужно выжить, а уж потом беспокоиться насчет оправдания.

Танкилевич попробовал было что-то возразить, но как-то вяло, и на этот раз Светлана не стала его слушать. Она сходила на кухню и вернулась, листая телефонную книгу. Посмотрела по очереди на Котлера, на Лиору и набрала номер. На этот раз ей ответили быстро.

— Побыть с вами, пока «скорая» не приедет? — спросил Котлер.

— Зачем? — сказала Светлана. — Чтобы насладиться своим великодушием? Вы дали денег на неотложку. Прекрасно. Врачи приедут. Помогут нам. Сегодня. А что будет завтра? Если это все, что вы готовы сделать, тогда уезжайте, и черт

с вами!

Демонстрируя заботу, она снова подсела на диван к мужу. Потрогала его лоб — Танкилевич отвернулся и уткнулся в спинку дивана.

Эта парочка показалась Котлеру до ужаса жалкой и нелепой. И ради них он должен демонстрировать, какой он благородный? Но Светлана то и дело поглядывала на него — ждала ответа.

— Светлана, может, вы и не поверите, но я не держу зла на вашего мужа. Так что даже нет необходимости говорить о прощении. Я готов согласиться с тем, что он не виноват. Я допускаю, что он не мог поступить иначе; я смог. Главное, чему меня научила жизнь: нравственность человека — его душа, совесть — так же дается ему от природы, как его рост или форма носа. Мы все появляемся на свет с врожденными наклонностями и ограничениями. Нельзя ругать человека за то, что у него такой характер или такой рост. Ни ругать, ни превозносить.

— Ну да, конечно, — незамедлительно последовал ответ Светланы. — Только вас превозносят, а моего мужа хулят.

— Ваша правда. Но дело обстоит именно так, и этого не отменить. Вот вы тут говорили о судьбе, о том, что верите в Божий Промысел. Спрашивали,

что я об этом думаю, а я сказал: я верю, что мы с судьбой идем рука об руку. Мы либо следуем судьбе, либо идем ей наперекор, в зависимости от своего характера. Все определяется характером, и беда в том, что наш характер определять не нам. С каким родились, с тем и живем. Вчера вечером я рассказывал Лиоре о своем отце, в молодости он был одаренным спортсменом, превосходным бегуном. Я был его единственным ребенком. Во многих отношениях я на него похож, но его атлетические способности мне не передались. Он меня, мальчишку, тренировал, пытался выжать из меня то, чего во мне не было. Я старался изо всех сил, но мне просто недоставало способностей. Это было мое первое столкновение с суровой действительностью. Первое, но, разумеется, не последнее. Например, я был недурным пианистом. И если я не достиг исполнительских высот, то опять-таки потому, что во мне не заложены те качества, которыми обладали более одаренные ученики. А еще у меня маленькие руки. Я отдаю себе отчет, что в обоих случаях мне это мешало, — и при этом от меня ровным счетом ничего не зависело. То же самое с нравственностью, мне и в этом пришлось убедиться. Как на свете существуют люди, физически или интеллектуально

одаренные, так существуют люди, одаренные нравственно. Люди с врожденным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. У которых есть безошибочное чувство справедливости и которые ни при каких обстоятельствах ему не изменят.

— Ясно, вы, значит, родились святым, а мой муж — злодеем?

— Нет, ваш муж не злодей. Злодеи действительно встречаются, но он не из таких. Потому я и сказал, что его не виню. Он обычный человек, который угодил в капкан преступной системы. Что касается меня, тут я даже теряюсь. Святой, герой — может, кто-то так про меня и сказал бы, но не я. Я просто не мог поступить иначе. В тюрьме, я знал, стоило мне сказать только слово — и конец моим мучениям, но я не мог заставить себя его выговорить. В горле будто затычка стояла. Нравственная. И ничем ее не вышибешь. А откуда она взялась, это вопрос к медикам — в метафизическом плане, конечно. Вот что я понял, пока сидел в тюрьме. Передо мной предстал человеческий характер совершенно без прикрас. На одном краю — небольшая группка злодеев, на другом — людей добродетельных. А между ними все остальные. И наш мир — результат борьбы

этих двух крайностей.

— Какая-то странная у вас идея, — сказала Светлана. — Нет ошибок; нет вины и награды тоже нет. Никто не несет ответственности за свои действия.

— Согласен, идея странная. Нет ошибок, нет вины и награды, но ответственность мы все несем.

— Ничего не понимаю, — сказала Светлана. — Вы сказали, что не вините моего мужа. Не держите на него зла. Что вы его прощаете. И при этом все равно собираетесь его наказать, хотя прошло столько лет и он сейчас так плох.

— Наказывать его я не собираюсь. Но не могу его оправдать, как вы того просите. Не могу выйти к журналистам, встать перед камерами и заявить всему миру, что я его прощаю и ни в чем не виню. Что он стал жертвой сил, перед которыми не устоял. Даже если искренне так считаю.

— Не можете? Но почему?

— Причина, по которой я не могу так поступить и не могу снять с Володи ответственность, с ним никак не связана. Даже считай я по-прежнему, что он заслуживает наказания, все равно он худобедно за содеянное ответил. Касайся дело только нас двоих, я бы сказал: «Володя, я тебя прощаю». Но я не могу встать и на весь мир заявить, что он

не повинен в том, что натворил. Потому что мир может неверно это истолковать.

Танкилевич застонал и, словно из последних сил, вцепился в диван, попробовал приподняться. Светлана замахала руками — то ли хотела уложить его обратно, то ли помочь сесть. Танкилевич упорно отбивался, пока ему не удалось сесть. Чтобы не упасть, он оперся на подлокотник. У него накипело — ему не терпелось высказаться.

— Мы все поняли, — сказал Танкилевич. — Ты щит Давида, ты защищаешь Израиль от моего тлетворного влияния.

— Я совсем не то имел в виду, Володя.

— Ты имел в виду, что я не человек, а червь. И что большинство людей, населяющих эту землю, тоже черви. Но как один из таких червей я вот что тебе скажу: повторись все снова, я поступил бы точно так же. Не пойди я на сотрудничество с КГБ, моего брата бы убили. А ты, несмотря на все перенесенные из-за меня беды, выжил и преуспел. А теперь скажи, смог бы человек, скажем, ты, поступить тогда иначе?

Котлер посмотрел Танкилевичу прямо в глаза.

— Разве я не ответил уже на этот вопрос? — сказал он. — Я бы так, как ты, поступить не смог. Я был готов умереть, готов расстаться с женой,

оставить родителей стариться без меня — но только не предать никого из моих собратьев.

Котлер глянул на Лиору — та взирала на происходящее безмолвно и отстраненно. Отстранилась она и от него, Котлер это ощущал. Ты взвешен на весах и найден легким[17]. Никогда раньше ничего такого не бывало.

Он обратился к Танкилевичу и сказал как можно мягче:

— Вот что я тебе скажу, Володя. И скажу безо всякой злобы. В Израиле тебе делать нечего. Там тысячи таких, как ты. Тысячи старых генералов разрабатывают планы очередной войны с арабами на скамейках в парках. Еще один такой нам без надобности. Зачем ехать туда, где ты не нужен? Может, лучше задаться вопросом: а где я нужен? Где могу пригодиться моему народу? И найти для себя такое место. Найти такое место — и впервые в жизни сделать выбор по своей воле.

— Я последний еврей в Крыму, здесь мне и помереть.

— Что ж, достойный конец.

— Если он такой достойный, почему ты сам его не выберешь?

---

[17] Примечания: 17
Дан., 5:27

— Потому что я нужен в другом месте, Володя. Вот только надолго ли, не знаю. Может, я еще к тебе здесь присоединюсь. И мы вместе будем последними евреями в Крыму, а может, бог его знает, нас ждут новая высылка и новое возвращение.

Котлер посмотрел на часы и перевел взгляд на окно. От неотложки ни слуху ни духу.

— Нам пора укладывать вещи, — сказал Котлер. — Пора ехать.

Он направился в их комнату и оглянулся на Лиору. Она шла за ним, но лицо ее оставалось холодным и непроницаемым.

Котлер сделал еще несколько шагов, но вдруг кое-что вспомнил. И обернулся к Танкилевичу — тот теперь лежал на спине, с открытыми глазами, а Светлана не сводила с него взгляда — ее не оставляла тревога.

— Володя, — позвал Котлер.

Танкилевич повернул к нему голову.

— Той ночью, перед тем как твое письмо появилось в «Известиях», ты перебил все тарелки в доме. Помнишь?

Он ждал от Танкилевича ответа или хоть какого-нибудь отклика.

— Помнишь? — повторил Котлер.

— Я помню все, — с расстановкой сказал Танкилевич.

— Никогда не мог понять. Что это было? Зачем было бить тарелки? А потом сидеть на кухне и склеивать их?

— Что это было? — переспросил Танкилевич. — Все просто. Мне нужно было чем-то занять руки. Иначе бы я тебя убил. Это был способ уберечь нас обоих.

Восхождение

Пятнадцать

Снова, как и накануне, Котлер и Лиора катили чемоданы по набережной, прокладывая путь между загорелыми отпускниками. Еще не было девяти, а люди уже потянулись на пляжи. Нет на свете другого народа, который относился бы к отдыху так же основательно, как русские. Никто не принимает солнечные ванны и водные процедуры с большими самоотдачей и усердием. Натуральные препараты, комплексные процедуры, народные средства, минеральная терапия — и доктора, профессора, эксперты всех мастей, которые их рекламируют. Русскую душу питают два противоборствующих источника, мистицизм и наука, — таково последствие неудавшегося советского проекта. Отсталость рука об руку с желанием быть впереди планеты всей. И это еще из самых безобидных последствий. Отец был тоже этому подвержен. Едва светало, он отправлялся на прогулку вдоль берега, энергично махал и вращал руками. К семи — опытный стратег — занимал место на пляже. Вскоре к нему присоединялись Котлер с матерью. Весь день был подчинен оздоровительному регламенту

— прогулки чередовались с купаниями: нельзя же просто лежать без дела. На солнце в организме вырабатываются витамины. Ходьба в быстром темпе разгоняет кровь. Плавание в соленой воде благотворно воздействует на кожу. А как полезен этот воздух для органов дыхания! Не говоря о чаях и настойках на душистых диких травах! А с каким удовольствием отец произносил: *«Питательные вещества»*!

Котлер и Лиора протолкались сквозь толпу отдыхающих к интернет-кафе. На ярком летнем солнце, подумалось Котлеру, мы из-за чемоданов и безрадостных лиц — ни дать ни взять последние евреи, отставшие от своих. Хотя, если быть точным, этой горькой чести будет удостоен Танкилевич. Причудница-судьба уготовила ему жребий — стать последним звеном в длинной цепочке крымских евреев. Цепочка эта тянулась на тысячу лет в глубь веков — к хазарам, последним, если верить легендам, еврейским воинам и императорам. Хазарам, крымчакам, караимам. А в прошлом веке еще и обреченным насельникам земледельческих колоний и идишским поэтам, которые узрели в Крыму родную землю, новый Иерусалим, замену старому. Сейчас эта история близилась к концу, обычному для всех еврейских

историй: с чемоданами на выход.

Кроме них, в интернет-кафе было всего две посетительницы. Две молодые женщины сидели в противоположных концах зала и что-то неторопливо печатали. С полдесятка компьютеров были свободны. Шумных мальчишек, играющих в войнушку, не наблюдалось. Наверное, они еще спали. А может, темная комната с мерцающими экранами не выдержала соперничества с соблазнами летнего утра. Если так, то, значит, мир еще не безнадежен.

Как и в прошлый раз, они заняли соседние компьютеры. Задвинули чемоданы за кресла и стали подыскивать варианты на обратный путь. И почти сразу нашли. Рейс в полночь, Киев — Тель-Авив. Рейс в восемь вечера, Симферополь — Киев. На оба рейса имелись места. Их можно было купить через интернет всего за несколько минут. Котлер потянулся за бумажником и кредиткой, но Лиора его остановила.

— Это та же самая авиакомпания, — сказала Лиора. — Я им позвоню, узнаю, во сколько встанет поменять билеты.

— Благоразумница ты моя, — сказал Барух.

— Не вижу смысла снова выбрасывать твои деньги на ветер.

— Снова? Ты имеешь в виду деньги, которые я дал Танкилевичу?

— Я имею в виду всю нашу поездку, Барух. Это была ошибка.

В ее словах слышалась стоическая отстраненность, отголосок того, что огорчило ее в доме Танкилевича.

— Это я виноват, — сказал Котлер. — Прости меня.

— Не нужно извиняться. И оправдывать меня перед еврейским народом тоже.

Лиора достала из сумочки телефон и набрала номер авиакомпании. Котлер сидел и смотрел, как она ждет соединения, как потом послушно выполняет все инструкции автоответчика. Видя, что Лиора не в духе, Котлер предоставил ей заниматься своим делом, а сам повернулся к компьютеру и набрал в поисковой строке «А-Арец». На этот раз на первой полосе уже не красовалась его не слишком лестная фотография. Новости о нем опустились в ленте на несколько позиций. И вообще лишь предваряли собой главное известие. И теперь, после массированной подготовки, оно всплыло на поверхность. На экране возникли первые сцены драмы. Потрясенные, расстроенные, возмущенные поселенцы перед

колоннами израильских солдат и полицейских с окаменевшими, удрученными лицами. Молодая мать из ортодоксальных, совсем еще девочка, с платком на голове и в длинной юбке, протягивающая своего зареванного малыша прямо в лицо молодой женщине-солдату. Группа молодых парней с длинными, развевающимися пейсами и в потрепанной одежде — явно из объединения «Молодежь холмов»[18] — оцепила ковчег в синагоге. Другая группа — мужчины постарше, в полосатой форме узников концлагеря, с наспех смастеренной желтой звездой Давида на груди. Вся постыдная, показушная, душераздирающая театральщина. Он сделал знак Лиоре: посмотри. Она глянула мимоходом и отвела глаза.

Котлер зашел на сайт «Йедиот ахаронот»[19] — там снимки были почти те же. Он стал смотреть, не мелькнет ли где лицо Бенциона. В форме, в касках многие мальчики — совсем еще школьники, ну куда им воевать? — были похожи на Бенциона, но Бенциона он так и не обнаружил.

Котлера с удвоенной силой потянуло домой

---

[18] Примечания: 18

Организация религиозных националистов, которые создают поселения на Западном берегу.

[19] Примечания: 19

Ежедневная израильская газета на иврите.

— чтобы сейчас, когда страну лихорадит, хотя бы дышать одним воздухом с соотечественниками. Сейчас стыдно оставаться в стороне.

— Они там вообще отвечают? — спросил он Лиору.

Та кивнула, но ничего не сказала. Она уже не нажимала на кнопки, просто сидела и ждала.

— Лучше заплатить, чем вот так ждать. Давай просто купим билеты, и я успокоюсь.

— Еще минуту, — сказала Лиора. — Может, ответят.

Котлер понял: теперь для Лиоры это уже дело принципа. Такова жизнь: от практицизма до принципа — один шаг. Он не стал настаивать. Если дело дошло принципа, до желания настоять на своем — значит, он тому причиной. В этой поездке она и так раз за разом ему уступала.

— Хорошо, Лиорочка, минутку так минутку, — сказал он.

И решил пока отложить чтение новостей и проверить личную почту. Последний раз он заходил в нее в Киеве, позавчера. Тогда в ней обнаружилось немало пересланных из его приемной писем — запросов от журналистов. Сейчас их еще прибавилось. А к ним присоединились и письма от самых разных его друзей — кто-то, наверное,

беспокоился, кто-то сочувствовал, а кто-то, может, и осуждал. Он не стал их открывать. Просто быстро пролистывал письма, проверяя, нет ли чего-то, на что требуется ответить немедленно. Его внимание привлекло письмо от отправителя по имени Амнон. Тема письма была обозначена одним-единственным словом на иврите: *хаваль*, «дело швах». Котлер открыл письмо. Внутри — ни строчки, только фотография. на ней он сидит на той скамейке в парке у Музея Израиля. На коленях у него запечатанный конверт с фотографиями. Позади — рожковое дерево и иссиня-черное предзакатное небо. Но в том месте, где рядом с ним сидел Амнон, — пустота. Амнона тщательнейшим образом убрали, словно его никогда там и не было. Свидетельством того, что над снимком поколдовали, был лишь крошечный жаворонок на лысой макушке Котлера. С птицей на голове он выглядел нелепо. Словно чокнутый старикашка или пародия на святого Франциска.

Котлер стер письмо.

Стал листать дальше и обнаружил одно за другим письма от Бенциона и Мирьям. Бенцион отправил свое чуть больше часа назад. А Мирьям — всего несколько минут как. То есть пока он сидел в этом интернет-кафе, она нажала на кнопку

и пустила свое письмо по цепочке электронных схем. Он представил, как она сидит перед монитором в их квартире, в комнате, отведенной ими под кабинет, за спиной у нее окно с видом на гору Скопус, а на стене над монитором — черно-белые снимки в рамках, его и ее родители, сфотографировали их примерно в одно и то же время, но с разницей в тысячи советских километров, все они молоды и серьезны, скромно одеты и готовы пуститься в новую, полную неурядиц послевоенную жизнь, отважно глядя в будущее темными глазами. Будь они живы, каково бы ему было под их испытующим, осуждающим взором? Нет, не нужно все упрощать и заниматься самобичеванием. В конце концов, их родители, как и большинство людей, повидали и хлебнули в жизни всякого. Так что правильнее спросить, каково бы им с Мирьям было под их испытующим и осуждающим взором?

Мирьям оставила тему своего письма незаполненной. Бенцион написал: «Псалом 136:5». Первым Котлер открыл его письмо — оказалось, что, кроме этой одной строки, в нем ничего нет. То ли Бенцион очень спешил, то ли не мог писать в открытую. Псалмы Котлер знал сравнительно хорошо. У него была возможность прочитать

их еще в Москве, в дни своего отказничества, потом в тюрьме — у свидетеля Иеговы имелась Библия на русском, и он не раз перечитывал их. Звучащие в них мольбы к Богу укрепить и защитить перед лицом нечестивцев грозных казались особенно кстати. В псалмах он нашел если не крепкую веру, то нечто более для него насущное — чувство общности со своим народом, начиная с глубокой древности, с самого царя Давида, через песни свои явленного человеком из плоти и крови, терзаемого теми же страхами, что и Котлер. *«Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили: кто их увидит?»*[20] А от царя Давида он ощущал связь с сонмом поколении предков — их тоже жестоко угнетали, и они тоже искали утешение в этих словах. В истории сопротивления еврейского народа он черпал силы. Для своих мемуаров Котлер взял заголовок из псалмов — «Песнь восхождения»[21], а эпиграф — из псалма 125: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»[22].

---

[20] Примечания: 20
Пс. 63:6.

[21] Примечания: 21
Песнь восхождения — общее название псалмов 119–133.

[22] Примечания: 22
Пс. 125:5.

Навскидку Котлер псалом 136 не помнил, тем более стих пятый, но теперь это затруднение ничего не стоило разрешить. Без бумажной Библии вполне можно было обойтись. Он вбил запрос в компьютер и увидел хорошо знакомые первые строки:

При реках Вавилона,
Там сидели мы
И плакали,
Когда вспоминали о Сионе[23].

А пятый стих звучал так:

Если я забуду тебя, Иерусалим, —
Забудь меня десница моя[24].

Вот как ответил ему Бенцион. Сын пошел против воли отца. Ничего нового. Такое в истории человечества случалось сплошь и рядом. И тем не менее в глазах Котлера это не умаляло ошибки, просто означало, что ему придется разделить вину за нее. После того позора, что навлек на семью отец, разве мог сын поступить иначе? После

---

[23] Примечания: 23
Пс. 136:1.

[24] Примечания: 24
Пс. 136:5.

такого разве можно было ожидать, что он прислушается к отцу вопреки своей совести? Даже не случись этого скандала, Бенцион вполне мог так поступить. Он глубоко верил в то, что Котлеру казалось всего-навсего декорацией, меняющейся в зависимости от ситуации. Бенцион считал, что жить надо по закону, данному Богом Израиля. Котлер считал, что Бог и Его закон указывают евреям путь. Чтобы быть евреем, почитать Бога необязательно, главное — найти верный путь. Чувствовать мелодию еврейской жизни вплоть до полутонов. Котлер знал много таких людей. Не только неверующих, а даже атеистов. В конце концов, именно такие люди создали их страну. Именно они вдохновляли Котлера, когда ему, московскому диссиденту, было столько же, сколько сейчас его сыну. Вейцман, Бен-Гурион, Жаботинский, Трумпельдор. К Библии они относились скорее как к поэтичному тексту и преданьям старины, а отнюдь не как к расписанию дел на каждый день. Но их пример со временем стал забываться. Для Мирьям и Бенциона поэзия и легенды не отделялись от повседневности. Для них Библия была божественна — и другого не дано. Была Священным Писанием, а не просто документом, подтверждающим наследственные

права на землю. Ну и ладно. Подобный образ мыслей всегда имел место, свое место среди других. Только постепенно он стал теснить другие. Теснил, пусть Котлеру и тяжко было это признавать, придерживающихся такого образа мыслей, как он, и ему подобных. Но разве не таков удел диссидента? Пора бы ему к этому и привыкнуть. Избыток логики всегда делает человека изгоем.

Котлер посмотрел на Лиору — она все еще молчала, сжимала телефон.

— Бенцион отказался выполнять приказы, — сказал он.

Лиора отняла телефон от уха.

— Как ты узнал? Из новостей?

— Не уверен, что это успело просочиться в СМИ. Он прислал мне письмо. Строчку из псалмов. Но из нее все понятно. Нужно брать билеты.

Она нехотя кивнула и готова была сбросить звонок, но тут в мобильнике раздался голос.

— Алло, да, алло, — сказала Лиора.

Она с головой ушла в разговор, и Котлеру ничего не оставалось, как вернуться к компьютеру — его ждало письмо Мирьям. Свое имя, *Мирьям Котлер*, она написала на иврите, словно — во что бы то ни стало — утверждала перед Богом и людьми свою с ним связь. В этих двух словах

содержалась вся их история, растянувшаяся почти на четыре десятка лет. С того дня, когда они, начинающие сионисты Борис Котлер и Милена Равикович, впервые встретились в Москве, и до дня, когда они поженились и она стала Миленой Котлер. Сначала она надписывала свои письма из Израиля *«Милена Котлер»*, кириллицей. Потом, когда его арестовали, а она развернула кампанию по его освобождению, стала Мирьям. Это имя, тоже написанное кириллицей, стояло на конвертах, которые с большими перерывами доходили до него в заключении. Лишь после освобождения он увидел, как оно пишется на иврите, — в списке жильцов, где она велела указать *Барух и Мирьям Котлер* и сделала это за годы до того, как у них забрезжила хоть какая-то надежда на воссоединение.

Эх! Никогда не узнаешь, когда судьба устроит тебе встряску. Кто бы мог подумать, что имя Мирьям, напечатанное на иврите, — ведь тысячу раз он его видел на счетах за квартиру — так разбередит ему душу.

Он открыл письмо.

Мой дорогой Барух, не знаю, найдет ли тебя мое письмо, но я надеюсь, что найдет. Как это непохоже на все те годы, когда я знала, где ты, но не

была уверена, что мои письма до тебя дойдут. С тех пор многое изменилось, и, слава Богу, по большей части к лучшему. Я постоянно себе об этом напоминаю в эти последние два непростых дня.

Барух, никогда не думала, что однажды придется писать тебе такое письмо. Никогда не думала, что однажды случится так, что я не буду знать, где тебя искать. Именно это стало для меня самым большим потрясением. Хочешь верь, хочешь не верь, но именно это ранило меня больше всего. Что ты исчез для нас. Меня и наших детей. Что стал относиться к самым близким тебе людям как к доносчикам, как к чужим. И все же я думаю, знай я, где ты, мне было бы легче переносить эту боль.

Барух, ведь я не наивна. Я понимаю, что обещания, которые люди дают друг другу в молодости, с возрастом не так-то легко соблюдать. Понимаю все насчет мужчин и искушений плоти. Об этом говорят и мой жизненный опыт, и Тора, которая не уходит от этой темы. Мне шестьдесят, а в плане сексуальном женщина в шестьдесят отличается от мужчины в шестьдесят пять. Я не испытываю того желания и той потребности быть желанной, как тогда, когда я была моложе. Господь, в мудрости Своей, создал женщин и

мужчин разными и наделил мужчин способностью сохранять желание до смертного часа. Когда царь Давид состарился, постель ему согревала молодая девушка, Ависага Сунамитянка, а не его жена Вирсавия, некогда столь прекрасная, что ради нее он совершил ужасный грех. В Торе нигде не сказано, что Вирсавия испытывала, видя в постели мужа эту девушку. Неужели ей не хотелось самой о нем заботиться? Или она просто смирилась с тем, что не может дать ему то, что может дать молодая? Разумеется, времена тогда были другие, у царей было много жен, и ни одна из них не могла ожидать, что будет для него единственной. И все же последние дни Вирсавия и Ависага не выходят у меня из головы. В Библии есть только одно место, где Вирсавия и Ависага появляются вместе, — когда Вирсавия приходит к царю Давиду просить оказать ей честь и пообещать назначить Соломона законным преемником трона Израилева. «Вирсавия пошла к царю в спальню; царь был очень стар, и Ависага Сунамитянка прислуживала царю; и наклонилась Вирсавия и поклонилась царю»[25]. Зачем в Библии упоминается, что с Соломоном была Ави-

[25] Примечания: 25
3 Цар., 1:15–16.

сага? Вирсавию тогда это еще больше унизило. Ей пришлось не только умолять мужа выполнить обещание, но умолять в присутствии молодой женщины, которая согревала ему постель. Тем не менее в результате она была вознаграждена. Муж сдержал обещание, и сын ее унаследовал трон и возвел, слава Господу, Первый храм.

Я много думала об этом и о том, какой урок я должна из этого извлечь. Стоит ли признать, что природа мужчин и женщин различна и с этим надо примириться? Знаю, наша близость уже не та, что прежде. Я не Ависага, я Вирсавия. Твоя жена, женщина шестидесяти лет, мать твоих детей. Но после стольких лет брака о чем Вирсавия может просить своего мужа? Позволено ли ей просить только за детей или за себя тоже? То, что у меня нет прежних желаний, вовсе не значит, что у меня вообще нет никаких желаний. Мне все так же необходимо многое другое, что у нас было: уют, дружеское участие, уважение, привязанность, любовь. Неужели те узы, которые нас связывали все эти годы, которые преодолели все препоны, ничего не стоят? А Вирсавия, ей что — ничего не причитается?

Я пишу тебе не для того, чтобы о чем-то просить или что-то требовать. Не стану и делать вид, буд-

то мне не больно и я на тебя не в обиде. Но я вижу, что мы с тобой как пара оказались на распутье, и задаюсь вопросом, какой путь нам лучше будет выбрать. Оба мы достигли зрелости, а наши дети уже почти взрослые. Так что сейчас, на этом этапе нашей жизни, у нас уже нет необходимости сохранять семью ради детей. И я на этом этапе вполне проживу без мужчины. Моя мать овдовела, будучи немногим старше меня, и остаток дней прожила в одиночестве. Она говорила, что ей не на что жаловаться. Конечно, хорошо бы, чтобы отец был жив, был рядом, но и без него у нее оставались подруги и я. И не одна только я, а все мы, ты же помнишь. Мы все о ней заботились, и ты не меньше моего. Ты стал ей сыном, словно и вправду был ей кровным родственником. У меня тоже есть друзья и есть наши дети. А вскоре, Бог даст, появятся и внуки. Вспоминаю, как жила моя мать в последние годы, и понимаю, что такая жизнь меня не пугает. И все же как моей матери хотелось, чтобы отец был с ней, так и мне, даже после всего случившегося, хотелось бы, чтобы ты остался со мной. Мы вместе построили семью. О ней мы мечтали почти с того самого дня, как познакомились в Москве. Мечта эта казалась такой далекой, долгое время — почти недости-

жимой. Но мы ее осуществили. Мы обосновались на израильской земле, земле наших предков, и вырастили тут двух красивых детей, которые гордятся тем, что они — евреи и израильтяне и мечтают уже на иврите.

Барух, я не знаю, что ты собираешься делать. Не знаю, что у тебя на уме и на сердце. Не знаю, какие обещания дал ты Лиоре, Ависаге в нашей истории. Конечно, я всегда видела в ней Ависагу. Любая молодая женщина в твоем доме всегда Ависага. Какой бы почтительной и вежливой она ни была, ты чувствуешь: в ней таится угроза. И она в этом даже не виновата. Это в природе вещей. Наша задача — бороться против природы. Наша задача — сопротивляться дурным помыслам с помощью помыслов добрых. Не знаю, долго ли сопротивлялась им Лиора и долго ли пытался устоять ты. Дафна сказала, что тебя шантажировали и что, если бы ты пошел на сделку, эти ужасные снимки никогда бы не увидели свет. (Тут я на твоей стороне. На такие компромиссы нельзя идти, и я бы тоже на такой компромисс не пошла.) Но если тебя шантажировали, значит, ты не собирался никому показывать эти снимки и не хотел обнародовать свой роман. И тогда возможно, что роман этот исчерпал себя или что

ты собирался положить ему конец. Возможно, ты вообще и не думал уходить из семьи. Возможно, ты просто оступился, всего раз поддался искушению, а теперь готов вернуться и жить с нами по-прежнему. Решать тебе. Но если ты захочешь вернуться в семью, я готова тебя простить. Наши друзья, наша община — они сплотились вокруг меня и поддерживали меня так, как прежде, в годы нашей борьбы, и они абсолютно со мной согласны. Все готовы тебя простить. Никто из нас не совершенен. Сегодня утром Гедалья принес мне этот стих из Екклесиаста: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы»[26]. Величайшие наши мудрецы и пророки тоже были не без греха. Так имею ли я право ожидать от тебя, даже от тебя, чтобы ты оказался праведнее, чем наши мудрецы?

Барух, что бы ты ни решил, прошу лишь об одном: решай скорее. Даже если ты решишь не возвращаться ко мне, возвращайся поскорее к своему народу и к своим детям. Они отчаянно нуждаются в твоем присутствии и твоем наставлении.

Твоя жена

---

[26] Примечания: 26
Еккл., 7:20.

Мирьям

Много дурного я совершил, подумал Котлер. Но хуже всего он поступил с той девушкой, которую сорок лет назад повстречал в Москве и которой поклялся в любви. Эта молчаливая, задумчивая девушка, похожая на молодую Ингрид Бергман, однажды вечером пришла на занятия ивритом, которые Собели тайно проводили у себя на квартире. *«Рак иврит»* — «только на иврите», такое там было правило. Когда им выпало разыгрывать друг с другом диалог, он спросил у нее: «Не хотели бы вы сходить в кино, выпить по чашечке кофе, выйти замуж, поехать в Израиль и вырастить там большую семью?» Она только и ответила: «Зе у?» — «Вот как?»

Где-то в Мирьям до сих пор таилась та девушка, а еще другие Мирьям, преданные и самоотверженные, и они облегчали и скрашивали его жизнь. Он обидел их всех, поврозь и вместе, и теперь он для них стал чужим, и вернуться к ним, даже если он захочет, невозможно. А к той Мирьям, что написала письмо? К ней, скорее всего, тоже.

Лиора закончила говорить по телефону раньше, чем Котлер дочитал письмо Мирьям. И чутко и терпеливо дождалась, пока он завершит чтение.

— Что-то важное? — спросила она.

— Письмо от Мирьям.

— Расскажешь?

— Ничего нового, — Котлер постарался сказать это как можно мягче. — Ничего, кроме премудрости от Гедальи.

— И какой же?

— «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы».

— Кому, как не ему, знать.

Дальше развивать эту мысль они не стали. Оба они были одного мнения о Гедалье, хотя у Котлера имелись и свои на то причины, о которых Лиора не знала. В свое время молодой, только что из ешивы, Гедалья был главным сторонником и заступником Мирьям. Ее соратником в великой священной войне за освобождение Котлера. Поползли грязные шепотки, которые дошли даже до Котлера в тюрьме. В письмах Мирьям все отрицала, однако не успел Котлер приземлиться на израильской земле, как Гедалья явился к нему, бил себя в грудь, умолял простить и слезно признавался в нечистых помыслах и желаниях.

— Я поменяла наши билеты, — сказала Лиора.

— Да, я слышал краем уха. Спасибо.

— Не за что, Барух. Приятно наконец хоть чего-

то добиться. Пусть даже в таком ерундовом деле.

Котлер посмотрел на часы. Половина десятого. До вылета в Киев больше десяти часов. Если поехать сейчас, им предстоит невыносимо долгое ожидание в аэропорту. В любом аэропорту ожидание тянется чересчур долго, тем более в симферопольском, не самом уютном на свете.

— Предлагаю поехать в Симферополь, — сказала Лиора. — Оставим багаж в аэропорту или на автовокзале и погуляем по городу. Там наверняка найдется на что посмотреть.

— Наверняка, — откликнулся Котлер.

— А что бы ты предложил? — спросила Лиора.

— Таких туристов, которые уехали бы из Ялты, не осмотрев Ливадийский дворец, дом Чехова и Массандровский пляж, не найти. Мы будем единственными.

— Значит, у тебя будет повод вернуться, — сказала Лиора.

— Нет, Лиорочка, — ответил Котлер. — Мне больше незачем сюда возвращаться.

Чтобы сесть на такси, они в последний раз пересекли площадь Ленина. У пьедестала пристроился аккордеонист, залихватского вида мужчина постарше Котлера, в белой бейсболке. Возле него, примотанная к низенькой тележ-

ке, фоном играла стереосистема. Рядом лежал футляр от аккордеона — для даяний — и по его несообразно роскошной бархатной синей обивке рассыпались купюры и монеты. Аккордеонист стоял возле футляра и наигрывал русскую народную песню. Его обступила горстка слушателей; те, что побойчее, пустились в пляс. Котлер тоже замедлил шаг, и Лиора тут же четко под него подстроилась. На импровизированном танцполе кружилось с десяток человек. Мужчина среди них был только один — молодой бритоголовый парень вел в танце свою худенькую спутницу. Кроме них, танцевали только женщины в возрасте. Одни парами, чуть отстранившись друг от друга, топтались под музыку. Другие танцевали в одиночку. Такие же, как Светлана, обычные русские измотанные женщины, они на время забыли в танце о своей тяжкой жизни. Ближе всех к Котлеру плясала женщина в цветастой блузке и длинной белой юбке — фигура ее отяжелела, у корней золотисто-рыжих волос пробивалась седина, лицо избороздили морщины. Вскинув голову и развернув плечи, она тихонько поводила руками и, перебирая ногами под колышущимся подолом юбки, описывала небольшие круги. На ногах у нее были телесного цвета нейлоновые

носочки и белые кожаные туфли на низком каблуке. На косточках были сделаны прорези, и сквозь них выпирали чудовищные «шишки».

«Просто сердце надрывается, куда ни посмотри», — подумал Котлер.

На стоянке такси поджидали пассажиров. Котлер подошел к первому попавшемуся. Шофер, опустив стекло, читал развернутую на руле газету.

— До Симферополя не подбросите? — спросил Котлер.

— Почему нет? — ответил мужчина. — Хоть до Херсона. Чем дальше, тем лучше.

Они сговорились, и он стал укладывать их багаж, а Котлер и Лиора разместились на заднем сиденье; Лиора отвернулась к окну, замкнулась.

Они ехали по той же дороге, что и накануне, только теперь из Ялты. Поутру весь туристический центр был забит. Машины и автобусы медленно пробирались вперед. Котлер рассматривал в окно сверкающую, осовремененную Ялту. Курортный город в продажной стране, задача которого — и тогда, и теперь — давать иллюзию счастья. Но мальчиком он искренне его полюбил, и родители, скорее всего, тоже. И вот он оставляет его навсегда, и еще один кусок его жизни погло-

щает непроглядное прошлое.

Они выбрались на трассу и покатили по крымской провинции. Перед их глазами мелькали те же картины, что и накануне: придорожные городки и села за последние пятьдесят лет почти не изменились. Что тогда, что теперь в них царила разруха, вот только на крышах кое-где торчали спутниковые тарелки. На пути в Ялту их автобус дважды останавливался, чтобы пропустить стадо коз — пастухи безмятежно вели их через трассу, словно сама древность их профессии давала им на это право. Иногда на полях встречались рабочие; иногда на остове какого-нибудь дома мужчины нескончаемо что-то строили. Все вокруг словно пребывало в какой-то буколической спячке. Котлеру это напомнило Израиль недавних лет, да и теперь такое можно видеть на севере и на юге — в арабской части страны. Только здесь пейзаж отличали наспех возведенные постройки, разбросанные наобум там и сям. Часто это были просто четыре стены без крыши. Или с крышей, но без окон и дверей. Все дома были из одинакового желтого известняка и легко могли оказаться как новым недостроем, так и старыми развалюхами. Хотя вряд ли старыми — Котлер вроде бы раньше их не видел. Вчера в ялтинском автобусе он

спросил об этих домах соседа, молодого русского парня. Тот сухо объяснил, что так татары пытались занять землю. После развала Советского Союза татары тысячами возвращались в Крым. Украинское правительство, в возмещение исторической несправедливости, выделило землю, чтобы они построили себе жилища. Предположительно, это и были их жилища.

Земля! Земля! Интересно, его товарищ по камере, татарин, здесь тоже что-нибудь построил? Он боролся за репатриацию и автономию крымских татар. Жизнь на это положил. Если он еще жив, им с Котлером было бы о чем поговорить. О мечтах, которые они лелеяли, и о том, чем эти мечты обернулись. И все упиралось в землю. В то, какую меру земли у себя под ногами ты мог назвать своей. Нет ничего примитивнее! Но мы же не парим в небесах. Человек — существо реальное, и ему необходимо реальное пространство. А из-за пагубной своей натуры он привык все делить на свое и чужое. Так повелось испокон века. Многие ли согласятся вот так ни за что ни про что отдать тебе землю? А если ты занял ее своевольно, как долго ты ее удержишь? И возможно ли согласие там, где его никогда не было? На первые два вопроса Котлер ответа не знал, но самым важным

он считал последний вопрос, а на него ответ был неутешительным.

— Представляешь, — сказал Котлер Лиоре, — ведь это место могло стать для евреев родиной. И тогда нас пытались бы выгнать не палестинцы, как сейчас, а татары и русские.

Лиора как села с краешка на заднем сиденье, так и сидела, молчала, глядела в окно. Котлер заговорил, пытаясь нарушить тишину, сделать шаг к примирению, хотя все еще не мог понять, что он такого сказал или сделал, отчего она держится отчужденно.

— Если тебе нужно что-то сказать, Лиора, то выскажись. — Чтобы не посвящать водителя в их дела, Котлер говорил на иврите. — Нам в этой машине два часа ехать.

Лиора, не скрывая досады, оторвалась от окна.

— Зачем я тебе, Барух?

— В смысле?

— Зачем ты сблизился со мной?

— Я думал, это понятно. Потому что я в тебя влюбился.

— По твоим словам. Но как такой человек, как ты, мог влюбиться в такую, как я?

— Такой человек, как я? В такую, как ты?

— Человек таких выдающихся нравственных

качеств — в заурядную девушку вроде меня. У меня в голове не укладывается, как такое возможно.

— Очень даже возможно. Такое случается сплошь и рядом. У нас, высоконравственных людей, такая беда: нас слишком уж мало. А искать себе пару приходится, — сказал Котлер, пытаясь ее развеселить.

— Не верю. Будь я на твоем месте, я бы ни за что себя не выбрала.

— Но ты не я. Я считаю иначе.

— Меня всегда одолевали сомнения. Я всегда задавалась вопросом, искренен ли ты. Потому что по сравнению с тобой и с Мирьям я — пустое место. И это я говорю не из-за того, что понаписали обо мне в газетах. Хотя я могла бы подписаться под каждым их словом.

— По-моему, ты слишком к себе строга.

— Думаешь? Судя по твоему разговору с Танкилевичем, — а он мне многое объяснил, — ничуть. Я слышала, что сказал ты и что сказал он. Я не уверена, что на его месте поступила бы по-другому. Так что, видимо, я не та, за кого ты меня принимал.

— Ясно, — сказал Котлер.

— Он совершенная развалина, старый больной

дурак.

— И поэтому заслуживает прощения.

— Ох, не знаю я, Барух. Но какая разница, что я там считаю. Решать не мне.

Они молча посмотрели друг на друга, и не успела Лиора отвернуться, а Котлер что-то ей ответить, как раздался мелодичный перезвон — зазвонил телефон Лиоры. По салону машины, как мячики, запрыгали звуки вибрафона. Лишь на втором звонке Лиора полезла в сумку. Вынула телефон и уставилась на экран; телефон за это время прозвонил в третий и в четвертый раз. Лиора с сомнением взглянула на Котлера и лишь потом тронула экран — ответила на вызов.

— Привет, — с холодком в голосе сказала она.

Котлер гадал, кто мог быть на другом конце трубки. Нынче нарваться на такой прием, по идее, могли очень и очень многие.

— Да, — ответила Лиора.

И снова тем же тоном:

— Да, знаю.

Помолчав, она поглядела на него в упор и снова сказала:

— Да.

После чего отняла телефон от уха и, ни слова не говоря, протянула Котлеру.

Котлер взял телефон.

— Алло, — сказал он и услышал голос дочери.

— Я тебе звонила, — хмуро сказала Дафна. — Твой телефон выключен.

Котлер нащупал телефон в кармане брюк и, повернув его так, чтобы он не бликовал, взглянул на экран. Черный. Нажал на кнопку — телефон не включался.

— Батарейка сдохла, — сказал Котлер.

— Мне пришлось позвонить ей.

— Значит, дело важное.

Он услышал женский голос — женщина передавала какое-то сообщение, и оно эхом разносилось по коридорам некоего общественного места. Слов сообщения было не разобрать, но он тут же решил, что случилось что-то непоправимое. Ему представились разверстая могила, насыпь земли, горестные вопли и рыдания.

— Ты должен вернуться, — сказала Дафна.

— Я уже возвращаюсь. Вечерним рейсом. Что случилось?

— Бенцион тебе звонил?

— Дафна, в чем дело? Что за игры? Или ты решила так меня проучить? Говори, что случилось.

— Бенцион выстрелил в себя, — ответила она.

Котлер почувствовал себя так, как будто этот

выстрел угодил и в него, пробил ему грудь.

— Папа, ты меня слышишь?

— Он жив?

Лиора — она прислушивалась к разговору — при этих словах насторожилась и встревоженно посмотрела на Котлера.

— Да, — сказала Дафна. — Он выстрелил, но в руку.

Котлер испытал низменное облегчение, но к облегчению тут же примешалась печаль.

— Он и двое его сослуживцев. Подставили руки под «узи» Бенциона, и он выстрелил. «Братство десницы» — так они себя назвали. У Бенциона на «Фейсбуке» висит их декларация — несколько строк из псалмов. Отвечать на вопросы они отказываются.

— Где ты, Дафна?

— В «Хадассе» Эйн-Керема.

В этой больнице Мирьям рожала Бенциона. Доктор объявил: «Мазл тов, господин Котлер, у вас сын». Котлер подошел взглянуть на ребенка, в котором воплотилось столько его чаяний. В глаза бросились — словно существующие сами по себе — длинные, изящные, прекрасно вылепленные руки младенца. Для крохотного тельца они были непомерно длинными — судьба словно

посмеялась над невысказанными надеждами Котлера. Ведь он втайне мечтал, что ребенок окажется одареннее его. Что гены — по счастью — сложатся удачно. При виде красивых рук сына Котлер испытал радость и облегчение. С тех пор он не уставал ими восхищаться. Он восхищался ими безмерно, постоянно, но к восхищению — постыдно — примешивалась зависть. Будь у него такие руки, его жизнь сложилась бы совершенно иначе! В поступке Бенциона явно крылся намек: сын не случайно повредил именно то, что больше всего любил в нем отец.

Теперь сын в больничной палате, под охраной военных, а под его окнами собираются демонстранты — их еще не успели разогнать. Бородатые люди в потрепанной одежде, с плакатами в руках; они поют. До Бенциона долетают их голоса: «Давид, сын Израиля, пребудет, пребудет вовек!»

— Что он сказал, папа? — спросила Дафна.

— Что сказал? Просил, чтобы я его благословил, Дафна. Разрешил не повиноваться приказам.

— А ты что ответил?

— Ответил, что не могу его на это благословить.

— Почему?

— Потому что считаю, что так делать нельзя,

Дафна. Попросил найти другой выход.

— Ну так он его нашел! — в голосе Дафны сквозила насмешка.

А чего ждал от сына Котлер — какого решения? Отказывая сыну в праве на выбор, додумал ли он до конца, чем все это может закончиться? Да. А готов ли он к такому концу? Готов увидеть могилу с насыпью свежей земли? Мешковину и прах? Нет. Тогда почему он не сказал Бенциону об этом напрямик? *Сын, дорогой мой, что угодно, только не это!*

— Все вы: ты, мама, Бенцион — держитесь за свои принципы, — сказала Дафна. — И посмотрите, что с нами стало. Ни к чему хорошему это не привело. Бенциону достаточно было одного твоего слова, папа. Ты что, умер бы, если бы сказал одно это слово? Он твой сын, не враг. Не КГБ и не премьер-министр. А теперь он пойдет по твоим стопам и отправится в тюрьму, на радость вам обоим.

В больнице по громкой связи вновь передали какое-то сообщение, поднялась суматоха.

— Ладно, теперь уже неважно. Мне пора.

— Как мама? — успел спросить Котлер.

— В своей стихии, — сказала Дафна и дала отбой.

Шестнадцать

У ближайшего придорожного лотка Котлер попросил водителя остановиться. На обочине стояло несколько раскладных столиков. На них громоздились десятки банок с медом самых разных оттенков, от соломенного до темно-янтарного. Рядом на земле, в плетеных корзинах, высились груды абрикосов и дынь. На металлических планках по бокам столов, как занавеси, висели длинные связки красного ялтинского лука. Спрятавшись под большим синим пляжным зонтом, на складных стульях сидели русская женщина и подросток-татарин. Парень склонился над мобильным телефоном и быстро, ритмично тыкал в него пальцами, а женщина лениво смотрела на шоссе и приближающихся покупателей.

Котлер и Лиора подошли к столику, но Котлер даже не взглянул на все эти дары природы. Он остановился возле мальчика — тот так и не оторвался от своего занятия. Женщина обмахивалась рукой, хотя она-то сидела в теньке — на солнце были Котлер и Лиора.

— Добрый день, — поздоровалась женщина.

— Добрый день, — машинально ответил Кот-

лер, занятый своими мыслями.

— Приехали посмотреть Крым?

— Да.

— Откуда вы?

— Из Израиля, — не таясь, ответил Котлер; скрываться больше не имело смысла.

— А, из Израиля, — протянула женщина со значением, но что она имела в виду, было неясно.

Простая торговка, далекая от политики, решил Котлер. И потерял к ней интерес. Он обернулся к Лиоре и попросил у нее телефон.

— Зачем? — спросила она.

— Покаяться, — ответил он и отошел на несколько шагов.

Краем уха он слушал, как Лиора с женщиной беседуют.

— Ялтинский лук. Сладкий, сахарный. Попробуйте.

— Верю на слово.

— Скажите, что вы знаете про мед?

— Ничего особенного.

Котлер остановился у обочины шоссе. Мимо пронесся грузовик, обдав Котлера мощной воздушной волной — он даже покачнулся. Хотел сделать как лучше, а в итоге лишь причинил боль — неожиданно очень многим. Потом, наверное,

авторы книг и историки найдут ему оправдание, но сейчас в происходящем не удавалось отыскать буквально ничего хорошего. И сейчас, когда все рушилось, ему захотелось спасти хоть кого-нибудь. Кое-какая возможность еще оставалась; три-четыре звонка — и он выяснит, можно ли еще что-то предпринять. Первым делом он позвонил в свою приемную, узнал номер надежного человека из иерусалимского «Джойнта»[27]. У него он выяснил адрес и телефон симферопольского «Хеседа», а также имя его директора — Нина Семеновна Шрайбман. И напоследок позвонил ей.

К полудню они добрались до «Хеседа». Шофер, хоть и уверял, что знает город, с трудом отыскал нужное здание.

— Что это хоть такое? — спросил он.

— Еврейский центр.

— Хорошо же его запрятали.

— Были на то причины, — сказал Котлер.

Водитель припарковал машину в тени можжевелового дерева. Солнце стояло высоко, в воздухе витали окрестные ароматы, пахло нагретым асфальтом, машинным железом и резиной, расплавленной древесной смолой.

---

[27] Примечания: 27

Крупнейшая еврейская благотворительная организация; помогает евреям во всем мире. Создана в 1914 г.

— Засеките время, — сказал водителю Котлер. — Неизвестно, сколько мы там пробудем. Надеюсь, не очень долго.

— Раз вы платите, мне все равно, — ответил водитель, опустил стекло и достал газету.

Он привык к ожиданию в силу и профессии, и генетики. Так они жили — стойко, упорно. Так сидели в окопах, когда на них шли немецкие танки.

Котлер позвонил, и дверь «Хеседа», щелкнув, отворилась. В вестибюле за столом сидел мужчина. Лет за пятьдесят, седой, с длинным унылым лицом. Особого интереса Котлер и Лиора у него не вызвали.

— Мы к Нине Семеновне.

— Как вас зовут?

— Барух Котлер.

— Минуту, — сказал мужчина; ни имя Котлера, ни его лицо ни о чем ему не говорили.

На столе стоял телефон. Мужчина снял трубку и набрал номер.

Котлер и Лиора ждали. Котлер лукаво глянул на Лиору, словно говоря: «А мы-то боялись, что меня узнают».

Кратко с кем-то переговорив, охранник положил трубку.

— Проходите, — сказал он.

Миновав его, они оказались в узком коридоре — такие раньше тянулись во всех советских административных зданиях. В таких коридорах Котлер в СССР выстаивал очереди за каждой бумажкой и за выездной визой тоже. Но здесь на стене висела большая карта Израиля, на ней карандашом были нарисованы верблюды, гранаты и меноры. Рядом — фотографии русских евреев, ветеранов войны, в орденах. Такие стенды тоже были хорошо ему знакомы. В свое время он, израильский министр и узник совести, посетил немало еврейских центров во всех уголках бывшего Советского Союза. Сразу после распада СССР он ездил больше — в то время у него еще были положение и ореол непостижимой силы. Тогда даже в самом отдаленном «Хеседе» его знал в лицо не только каждый охранник, но и каждая уборщица. В этих поездках, когда он с триумфом колесил по стране, за ним повсюду следовали репортеры и фотографы, и он позировал перед камерами, делился воспоминаниями и всех евреев, которые приходили на него посмотреть и пожать ему руку, призывал: «Братья и сестры, поезжайте домой! Поезжайте в Израиль!» И они ехали. Он не тешил себя иллюзией, будто ехали

они лишь потому, что он позвал. Главная заслуга принадлежала Ельцину, Кучме и Лукашенко, это благодаря им так хотелось уехать из страны. Однако не было бы преувеличением сказать, что и он сыграл тут роль. Даже злейшие его враги не могли этого отрицать. Он сыграл роль, и это дало результаты. А сейчас что он здесь делает? Убегает от последствий? И более того, поступает наперекор себе прежнему, уговаривая одного еврея не уехать, остаться.

Где кабинет Нины Семеновны, они не знали и потому заглядывали во все комнаты. Попали в библиотеку — там обнаружилось всего несколько полок, неплотно заставленных книгами; женщина за стойкой робко им улыбнулась. В соседней комнате, судя по доносившимся звукам, были ясли. Котлер насчитал трех малышей-ползунков и двух детишек постарше. На полу валялись игры и игрушки. С малышами возилась молодая женщина, с ребятами постарше молодой парень мастерил картонные щиты, украшенные рисунками причудливых разноцветных птиц.

Тут Котлер заметил, что за ними наблюдают. У двустворчатой двери в какое-то помещение стоял мужчина, постарше его, и явно их поджидал. Издалека не скажешь, что ему от них нужно. С

виду ничего угрожающего в нем не было. Лысый, сутуловатый, пожилой еврей. На шее — очки на шнурке, с бифокальными линзами. Но когда они подошли ближе, по его лицу стало ясно: у него что-то на уме.

— Добрый день, — поздоровался он с Котлером, продолжая в упор его разглядывать.

— Добрый день, — ответил Котлер.

— Где я мог вас видеть? — спросил мужчина.

— Я здесь раньше не был, — сказал Котлер.

— Ваше лицо мне знакомо, — не отставал мужчина.

— Мне многие так говорят.

— Но вы еврей?

— Как в Крыму любят об этом спрашивать.

Уклончивый этот ответ мужчину не устроил, он хотел удовлетворить свое любопытство.

— И все-таки?

— Да, — подтвердил Котлер.

— Редсту идиш?[28] — спросил мужчина.

— Абиселе[29],—ответил Котлер, приведя его в восторг.

---

[28] Примечания: 28
Говоришь на идише? (*идиш*)

[29] Примечания: 29
Немножко (*идиш*).

— А, зер гут! Вос махт а ид?[30]

— А ид дрейцих[31], — ответил Котлер.

Еврей всегда выкрутится, как любил говорить его отец.

— Заходите к нам, — и мужчина показал на комнату справа.

Котлер заглянул внутрь. На возвышении в конце комнаты стояло пианино, вокруг него — пустое пространство. В центре стоял столик — за ним играли в шахматы двое мужчин. Еще трое сидели рядом, но игра их не интересовала. Один разглядывал Котлера, двое других в разных выражениях приносили друг другу соболезнования.

— Наш кружок идиша, — пояснил мужчина. — Каждое воскресенье мы собираемся и говорим на идише.

— Боюсь, я продемонстрировал вам все свое знание идиша. Вряд ли я смогу быть вам полезен.

— А как насчет шахмат? Вы в шахматы играете?

— Еще хуже, чем говорю на идише, — сказал Котлер.

— Идиша не знаете, в шахматы не играете, —

---

[30] Примечания: 30
Хорошо! Как поживает еврей? (*идиш*)

[31] Примечания: 31
Крутится (*идиш*).

посетовал мужчина. — Что ж вы за еврей такой?

— Об этом много споров идет.

— А вы? — обратился мужчина к Лиоре. — Может, вы знаете идиш? Молодые сейчас изучают. В прошлом году к нам приезжали студенты из Америки, со своим профессором — снимали с нами интервью.

— Мой идиш еще хуже, чем его, — сказала Лиора.

— А что у вас с шахматами?

— С шахматами лучше.

— Тогда сыграйте с нами. Нам, старым какерам[32], будет приятно пообщаться с такой хорошенькой девушкой.

— Простите, но сегодня не смогу, — сказала Лиора.

— Сегодня не сможете, а завтра тем более, — мужчина ничуть не огорчился. — Придется нам ждать до пришествия Машиаха!

— И тогда все мы будем играть в шахматы и говорить на идише! — сказал Котлер.

— Поскорей бы он пришел! — сказал старик.

Он возвратился к своим товарищам, а Котлер и Лиора остановились перед последней дверью.

---

[32] Примечания: 32
Какер — хрыч (*идиш*).

Котлер постучал, и женский голос сказал:

— Войдите.

За дверью оказалась приемная — два пустых стола, на них телефоны и компьютеры. Радио негромко передавало программу по заявкам на русском языке. Похоже, речь шла о том, есть ли жизнь на других планетах. Научный эксперт склонялся к мысли, что есть.

Дверь между столами вела в кабинет. Она была открыта. За большим столом сидела женщина и смотрела на Котлера. В пепельнице у ее локтя дымилась сигарета. Она взяла ее и жестом пригласила Котлера и Лиору войти.

— Садитесь, — сказала она. — И пожалуйста, закройте дверь в коридор.

Котлер и Лиора сели на стулья напротив нее.

— Не возражаете, если я буду курить? — спросила она, так и не поднося сигарету ко рту.

— Курите, — сказал Котлер.

Она подошла к окну и приоткрыла его.

— На улице жарко, а кондиционеров нет, вот я и держу окно закрытым. Но это немного вытянет дым.

Вернувшись на место, она ловко стряхнула пепел и сделала знак, что готова слушать. Котлер видел многих хозяек таких кабинетов — все

они были похожи. Строгие, расчетливые, рачительные, привычные к бесконечным просьбам. Холодные, но не злые. Матери бедных семейств, способные обходиться малым.

— Итак, господин Котлер, чему обязана такой честью? — спросила Нина Семеновна, если и заискивая перед ним, то самую малость. — По телефону вы были крайне лаконичны.

— Спасибо, что согласились так срочно нас принять.

— Не каждый день мне звонит сам Барух Котлер. Как я уже сказала, для меня это честь. Надеюсь, вас не смутит, если я скажу, что вы для меня герой.

— Очень даже смутит. Но всегда приятно, когда тебя помнят. Особенно когда ты уже канул в безвестность.

— Насчет вашей безвестности я сильно сомневаюсь.

— Ничего страшного в этом нет. Времена меняются. Раньше я по «Хеседу» неузнанным пройти бы не смог.

— А вас не узнали?

— Ни ваш охранник, ни мужчина в коридоре — он вообще усомнился в том, что я еврей. Это спускает с небес на землю. Что очень даже

неплохо.

— У людей по горло своих проблем, они ими заняты.

— И имеют на это полное право, — сказал Котлер.

Нина Семеновна сделала затяжку и перевела взгляд с Котлера на Лиору.

— Прошу прощения, — сказал Котлер. — Я вас не представил. Это Лиора Розенберг.

— Знаю, — сказала Нина Семеновна. — Я читаю газеты.

— Ясно, — сказал Котлер.

— Значит, ответ на великую загадку «Куда они направились?» звучит так: «В Крым».

— Да, в Ялту. Потянула ностальгия по детству. Неудачный был выбор.

— Почему неудачный? Ялта, Крым по-прежнему красивы. Не вижу ничего плохого в такого рода ностальгии. Почаще бы она у евреев возникал а. Мы не Одесса. К нам мало кто приезжает.

— Согласен. В Крыму красиво. Только не ко времени мы сюда приехали. Все наши планы полетели кувырком. Произошла, знаете ли, одна совершенно невероятная встреча…

Больше ничего добавлять не нужно, понял Котлер; отрывочных сведений Нине Семеновне

хватило, чтобы у нее сложилась вся картина. Вскользь упомянутая Ялта. Невероятная встреча. Их появление у нее в кабинете. Ее лицо на глазах окаменело. И до Котлера дошло, что ее небывалое радушие было вызвано исключительно скандалом, о котором она прочитала в газетах. Мысль о том, что их визит связан с Танкилевичем, ей в голову не приходила.

Семнадцать

Танкилевич наклонился над цинковой ванной во дворе. В ней лежали листки — копия его письма к Хаве Марголис. Коробок со спичками был наготове. Это письмо надлежит сжечь. Он долго его хранил — глупо обманывал себя. Воображал, что после его смерти дочери найдут это письмо, и им откроется правда об их загадочном отце. Это утешало. То, в чем он не мог признаться при жизни, они прочтут после смерти, в его собственном изложении. После безрезультатной поездки в больницу Танкилевича охватило желание перечитать письмо, и он отыскал его в кабинете. Давным-давно он не брал его в руки. Как отослал десять лет назад, так с тех пор к нему и не прикасался, хотя до последней, кажется, запятой помнил все, о чем в нем говорилось.

Перечитал — и отправился за спичками.

Тем временем Светлана без сил лежала на диване. Глаза она прикрыла рукой. Так с дивана и раздавала указания — сначала попросила не шебуршить в соседней комнате, а увидев, что он идет во двор, стала умолять сидеть дома.

Прочитав письмо, Танкилевич вспомнил то,

что сумел вытеснить из памяти. Он действительно помнил почти каждое слово, но забыл, почему он вообще это письмо написал. Меж тем причина, цель его письма постыдно проглядывали в каждой строке. Письмо он написал вскоре после того, как умер брат. Как же он об этом забыл? Написал, оказавшись в отчаянной нужде. Отсюда этот выспренний, требовательный тон. Теперь он вспомнил. Первым делом он тогда обратился к Хаве Марголис: «Прости, пощади, спаси», — а когда она не ответила, кинулся к Нине Семеновне. Письмо его было воплем человека слабого, он таких презирал. Не таким хотелось ему предстать перед дочерями. Лучше вообще ничего не оставлять.

Не успел он чиркнуть спичкой, как в доме зазвонил телефон. Сам не зная почему, повинуясь какому-то внутреннему голосу, он так и остался стоять с зажженной спичкой. После второго звонка Светлана взяла трубку. Танкилевич ждал. Бросил спичку на сухую, потрескавшуюся землю, тщательно затоптал. Вскоре из дома с трубкой в руке выскочила Светлана.

— Тебя, — задыхаясь, выпалила она.

Танкилевич взял трубку и услышал голос Нины Семеновны. Она сказала:

— Господин Танкилевич, я тут подумала над нашим разговором.

— Да, — сказал Танкилевич.

— И решила смягчиться, — сказала Нина Семеновна, тон ее при этом оставался железным.

— Почему? — спросил Танкилевич.

— Вы бы лучше не вопросы задавали, господин Танкилевич, а сказали спасибо.

— И все-таки хотелось бы знать, — уперся Танкилевич.

— Почему? Потому что солнце светит, — ответила Нина Семеновна. — Или, может, вы хотите, чтобы я переменила решение?

У Светланы — она стояла рядом и все слышала — глаза от ужаса полезли на лоб.

«Да делайте что хотите, — подумал Танкилевич. — И идите к черту!»

А вслух сказал:

— Нет.

— От вас благодарности не дождешься, — сказала Нина Семеновна и прибавила: — Пособие будет высылаться вам по почте.

Танкилевич вернул трубку Светлане.

— Ну что? — спросила она.

— Иди благодари Бога, — сказал Танкилевич. Он зажег спичку и поднес ее к письму.

Восемнадцать

От терминала для внутренних рейсов киевского аэропорта Борисполь до парковки тянулись в ряд высокие раскидистые каштаны, стволы их были выкрашены белой краской. Под ними поставили скамейки, чтобы пассажиры могли передохнуть. Лиора сказала Котлеру, что ей, перед тем как перейти на международный терминал и сесть на рейс до Тель-Авива, хочется немного там посидеть. Был одиннадцатый час вечера, и под кронами сгустилась темнота. Дул легкий ветерок. В этом укромном месте Котлер с Лиорой были не одни; желание присесть перед дальней дорогой привлекло сюда и других пассажиров. На одной из скамеек приютилось семейство — родители и двое маленьких детей. Один малыш спал у отца на руках, другой сонно жевал выданную матерью булочку. На другой скамейке, полускрытый сумраком, тихо сидел одинокий мужчина — пил из бутылки пиво и курил сигарету. Тишину время от времени нарушал звук автомобиля, выезжавшего с парковки, да каждые несколько минут в небо по красивой дуге взмывал самолет, и вскоре от него оставались лишь мигающие огоньки — на

носу белые, на крыльях зеленые и красные.

Лиора и Котлер сидели немного поодаль друг от друга и молчали. Потом Лиора протянула руку и вложила ее в ладонь Котлера. Теперь они сидели, держась за руки, но по-прежнему не говоря ни слова. Это было прощание — что тут скажешь? Интересно, подумала Лиора, если б они не приехали в Ялту, не встретили Танкилевича и Бенцион не совершил бы самострел, могло ли у них все сложиться иначе? Или ход событий был предрешен? Лиора представила Бенциона — как он лежит в больнице, с искалеченной рукой. Он всегда казался ей скромным, серьезным, прямодушным мальчиком. Ее приязнь к нему, к Дафне да и к Мирьям никак не уменьшилась. Они приняли ее как свою, и это была для нее честь. А теперь она не сможет ни навестить его, ни передать открытку с пожеланием скорейшего выздоровления. Не приходилось сомневаться, что на такой поступок его толкнули пертурбации не только в стране, но и дома. Совсем скоро они снова во все это окунутся, и ей тоже предстоит решать, как жить дальше. Так что она рада была посидеть в полутьме и продлить их прощание — момент самой светлой близости за все их путешествие. В целом же от поездки осталось

ощущение смутного неудовольствия. Ей вдруг открылось то, что следовало бы понять давно. Отказ Котлера не пойти на компромисс там, на скамейке в парке, стал предвестником краха не только его брака, но и их романа. Эта поездка, с которой, казалось, начнется их новая жизнь, положила ему конец. Если копнуть глубже, их с Котлером отношения с самого начала строились на непрочной основе. На девичьей влюбленности, на которой надо было бы поставить точку. Ей захотелось, чтобы святой оказался еще и мужчиной. С тем же успехом можно было захотеть, чтобы день сделался еще и ночью. Святой любит не кого-то одного, а весь мир, тогда как мужчине дороже всего мира одна-единственная. Поэтому со святым может жить лишь святая. А она не святая, хоть, было время, и стремилась ею стать.

Думая, будто ты для кого-то недостаточно хорош, ты словно ставишь это ему в укор, однако укорить Баруха, считала Лиора, имела право лишь она. И больше никто в мире. В мир они вернутся, когда встанут в очередь на рейс в Тель-Авив и их опознают. В кабинете у Нины Семеновны прозвучал первый звоночек. Все стало ясно по ее лицу, когда они вошли, а также по тому, как она отнеслась к просьбе Баруха. Собственно, они

и ожидали чего-то в этом роде, но это уже было через край.

— Если все откроется и возникнут проблемы, — спросила Нина Семеновна, — кто меня защитит? В таком ли вы сейчас положении, чтобы гарантировать мне защиту?

— Что до гарантий, — сказал Котлер, — то даже в лучшие времена никто ничего гарантировать не может. Сделайте это не потому, что у вас есть гарантии, а потому, что так правильно.

— Тогда я лучше буду думать, что это неправильно.

— Ни к чему его наказывать. Если уж я смог его простить, то и вы сможете.

Нина Семеновна резко повернулась к Лиоре.

— Вы все сидите и молчите. Полагаю, нам стоило бы узнать и ваше мнение?

Котлер тоже повернулся к Лиоре.

— Пусть живет, — сказала она.

Кода

В самолете до Тель-Авива Котлер надвинул шляпу поглубже. Он сидел посредине, Лиора у окна. Возле прохода расположился молодой хасид с пейсами, весь в черном. Вообще-то в центре полагалось сидеть Лиоре, но хасид вежливо попросил их поменяться местами. Он не стал объяснять почему, а они не стали спрашивать Самолет был набит под завязку. Затевать споры о равноправии было ни к чему.

Рейс выполняла украинская авиакомпания, и на борту наблюдалось смешение людей, какое теперь случается только во время таких полетов. Их самолет походил на маленький летучий штетл. Оживший рассказ Шолом-Алейхема. Бок о бок, ряд за рядом сидели евреи всех толков. Одни хасиды молились Богу по-своему, хасиды соперничающего толка — по-другому, сионисты-ортодоксы — по-третьему. Были семьи из торгового сословия — они говорили на иврите, и семьи так называемых бизнесменов — эти общались по-русски. Были, подобно Котлеру с Лиорой, представители творческих профессий

и интеллектуалы, озабоченные великими философскими вопросами. И молодые американские евреи, беспечные, легкомысленные и недалекие — они не знали исторических потрясений и доверчиво смотрели на мир. Тут и там сидели русские и украинцы, спокойные и невозмутимые, за долгие годы привыкшие к любым евреям. Это была модель сосуществования, какой мир не знал, какую нигде и никому не удалось создать. Приземлится самолет — и они снова рассеются, разбредутся каждый по свою сторону баррикады.

Как все изменилось, подумал Котлер, по сравнению с его первым прилетом в Израиль. Чуть ли не с точностью до наоборот.

Четверть века назад его переполняла радость. Его ждал весь Израиль. Премьер-министр официально прислал за ним самолет. Они летели из Праги в Тель-Авив — только израильский экипаж, два дипломата, Мирьям и он. Это был зенит его жизни. Его переполняли надежды и оптимизм.

Сейчас, на борту самолета, среди соотечественников, в идеальном для себя окружении, он прятался под шляпой. При мысли об Израиле его все так же охватывало радостное изумление: после многих тысяч лет изгнания его народ

вернулся на родину, ему повезло родиться в это время, он одолел ужасных врагов и обрел место здесь, — но за ее будущее было страшно. Соотечественники больше не ждали, сгорая от нетерпения, его в аэропорту. Напротив, он стал мишенью для презрения и насмешек. Время его миновало. Страна жаждала нового, совсем другого героя. Вероятно, ему стоит гордиться, ведь некогда он все же сумел стать для нее героем.

Но он помнил, как в тот вечер, четверть века назад, когда перед ним впервые промелькнула эта земля, когда перед глазами пронеслись темные очертания Иерусалима, древнего города, всего в огнях, — сердце его увеличилось до предела, словно кто-то взял его сверху и снизу и потянул, глаза наполнились слезами вековечного горя и благодарности, а в голове чей-то таинственный голос громко произнес слова псалма: *«Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне»*[33]. Он помнил, как крепко сжал руку Мирьям и не отпускал ее, пока они снижались, потому что от нетерпения ему хотелось выскочить из самолета, помнил взлетную полосу и на ней почетный караул, духовой оркестр, поло-

[33] Примечания: 33
Пс. 125:1.

щущиеся на ветру флаги и лица тысяч ликующих людей — еще до того, как он вышел к ним, они не удержались и запели.

«Давид, сын Израиля, пребудет, пребудет вовек!»

Коротко об авторе

Дэвид Безмозгис (р. 1973) — канадский писатель и режиссер. Родился в Риге, в возрасте шести лет иммигрировал с семьей в Канаду. Окончил университет МакГилла и Школу кино и телевидения Университета Южной Калифорнии. Учась в школе и после снимал короткометражные фильмы, как документальные, так и художественные. В 1999 году — документальный фильм «Л.-А. Моэль» (сценарист и режиссер). Фильм получил главную премию для начинающих кинорежиссеров; в 2001-м — короткометражную комедию «Алмазный нос»; в 2003 году — документальный фильм «Подлинная история, первое испытание».

Рассказы Дэвида Безмозгиса публиковались в «Нью-Йоркере», «Харперс», входили в сборники «Лучших американских рассказов» (2005, 2008).

В 2009 году на экраны вышел первый полнометражный художественный фильм Дэвида Безмозгиса «День королевы Виктории» по его сценарию, он же был и его режиссером. Фильм показывали на Московском международном фестивале, фестивалях в Афинах, Сеуле, а также

на Еврейских фестивалях в Сан-Франциско и Торонто.

В 2015 году вышел второй художественный фильм — «Наташа» по одноименному рассказу Дэвида Безмозгиса, он же был его сценаристом и режиссером.

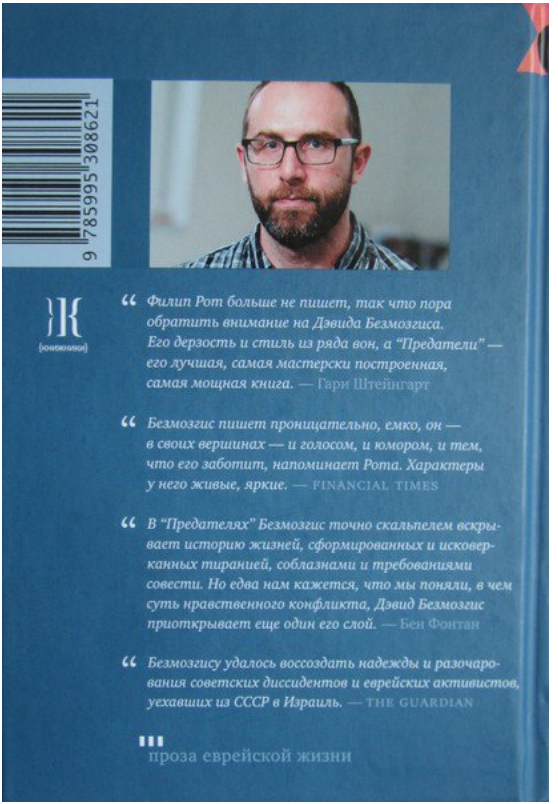
Книга «Наташа и другие рассказы» (2004; рус. пер. «Книжники», 2013) была названа лучшей первой книгой, одной из 25 лучших книг года.

По списку «Нью-Йоркера» 2010 года, Дэвид Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в нем наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда.

Первый его роман — «Свободный мир» вышел в 2011 году; второй («Предатели») был опубликован в 2014 м. В 2019 году вышел второй сборник рассказов — «Город иммигрантов».

И пишет прозу, и снимает фильмы Дэвид Безмозгис по преимуществу о евреях, иммигрировавших из СССР. Стараются ли они обосноваться в Канаде, как герои «Наташи и других рассказов» и «Города иммигрантов», оказываются ли на перепутье в Италии в ожидании, куда их занесет дальше («Свободный мир»), или уже освоились в Израиле («Предатели»), всем им предстоит адаптироваться в новом мире с незнакомыми

законами, устоями и даже привычками.



Филип Рот больше не пишет, так что пора обратить внимание на Дэвида Безмозгиса. Его дерзость и стиль из ряда вон, а «Предатели» — его

лучшая, самая мастерски построенная, самая мощная книга. — Гари Штейнгарт

Безмозгис пишет проницательно, емко, он — в своих вершинах — и голосом, и юмором, и тем, что его заботит, напоминает Рота. Характеры у него живые, яркие. — FINANCIAL TIMES

В «Предателях» Безмозгис с точно скальпелем вскрывает историю жизней, сформированных и исковерканных тиранией, соблазнами и требованиями совести. Но едва нам кажется, что мы поняли, в чем суть нравственного конфликта, Дэвид Безмозгис приоткрывает еще один его слой. — Бен Фонтан

Безмозгису удалось воссоздать надежды и разочарования советских диссидентов и еврейских активистов, уехавших из СССР в Израиль. — THE GUARDIAN